



Аякко Етамм

нецелованный
с т р а н н и к
повести и рассказы

Аякко Стамм

Нецелованный странник

«Издательские решения»

Стамм А.

Нецелованный странник / А. Стамм — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-742404-6

Произведения Аякко Стамма завораживают читателя. Казалось бы, используя самые обыденные вещи, он создаёт целые поэтические замки, которые ведут в глубь познания человеческой природы, в те самые потаённые уголки человеческой души, где бережно растится и сохраняется прекрасное.

Странное, порой противоречивое наложение реальностей присуще творчеству автора. Но самое главное — в нём присутствует то, что мы называем авторским почерком. Произведения Аякко Стамма нельзя перепутать ни с какими другими.

ISBN 978-5-44-742404-6

© Стамм А.

© Издательские решения

Содержание

Рождение души-Феникса	6
Смерть писателя	8
Рядовой Майорчик Вася	13
1	13
2	14
3	15
4	17
5	19
Потерянный рай	20
1	20
2	22
3	26
4	27
На жёрдочке	29
1	29
2	31
3	33
4	34
5	36
Двое во вселенной	37
Свечечка на холмике под крестом	38
Верность	40
Ловись, рыбка, большая и маленькая	43
Нецелованный странник	48
I	48
II	52
III	57
IV	61
V	67
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Нецелованный странник

Аякко Стамм

Редактор Дина Идрисова

Иллюстратор Андрей Оганян

Дизайнер обложки Андрей Оганян

© Аякко Стамм, 2018

© Андрей Оганян, иллюстрации, 2018

© Андрей Оганян, дизайн обложки, 2018

ISBN 978-5-4474-2404-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Аякко Стамм



Рождение души-Феникса

Аякко Стамм – новое имя в современной литературе. Его произведения завораживают читателя. Казалось бы, используя самые обыденные вещи, он создаёт целые поэтические замки, которые ведут в глубь познания человеческой природы. Но не той природы, которую мы видим каждый день, нет, он ведёт в те самые потаённые уголки человеческой души, где бережно растится и сохраняется прекрасное. Здесь мне хотелось бы привести строчки А. Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Вы возразите: «Но, автор пишет прозу». Да, прозу. Но проза эта – поэтическая. Иногда, опуская даже излишнее описание героев, он вдруг углубляется в создание духовного мира этих простых с виду людей. И на наших глазах рождается совсем другое существо – ранимое и прекрасное. Мне хочется назвать этот приём – рождение души-Феникса. Почему Феникса? А потому, что герои Аякко Стаммы, пройдя через возможные и невозможные испытания, подобно самому автору, чей жизненный путь оказался долгим и тернистым, выходят из всех перипетий обновлёнными, а часто даже незнакомыми и для самих себя.

Именно так выстроена сказка для взрослых «Отображение». А в рассказе «Потерянный рай» уже иной поворот. Хотя и за этим поворотом угадывается взлёт, трансформация, перерождение. Трансформацию претерпевает и образ Ивана Грозного в повести «Путь мотылька». Пожалуй, это одна из самых сильных вещей в данной подборке. Жестокая, временами оголённая правда заставляет читателя полностью погрузиться в мир средневековой России, и неожиданным спасательным кругом от ужасов того времени служит некий прорыв в современность. Да, всё было, но этого уже нет, и не должно больше быть. Помни об этом читатель и сохрани свой мир от ужасов и дикости, присущей нашим предкам.

Та же тема проходит и в небольшом сатирическом рассказе «Ловись, рыбка, большая и маленькая». В ней мы видим новую грань авторского дарования – едкого сатирика. В главной повести этой книги «Нецелованный странник» объединено всё. И романтика, и критическое отношение к своему литературному герою, и психология. Весьма психологически сильный рассказ «Смерть писателя», открывающий собой данную подборку. Многие узнают себя в главном герое, хотя не каждый признается в этом даже самому себе. Блистательная концовка рассказа, надеюсь, многим поможет осознать, наконец, то, что на самом деле суетно в этом мире.

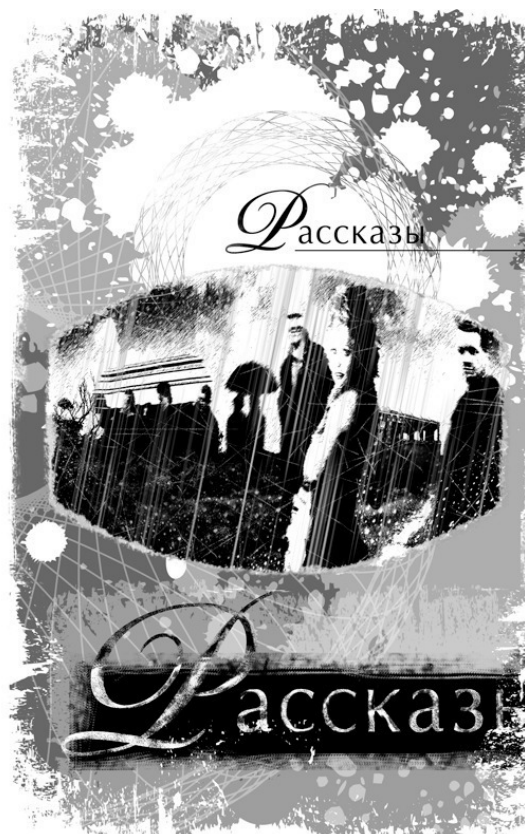
Странное, порой противоречивое наложение реальностей присуще творчеству автора. Но самое главное – в нём присутствует то, что мы называем авторским почерком. Произведения Аякко Стаммы нельзя перепутать ни с какими другими.

Аякко Стамм продолжает традиции русской романтической новеллы 19 века. Но это не означает, что автор полностью придерживается именно этого направления. В его произведениях присутствует свет, который постоянно пробивается сквозь щели мрачного строения, в котором заключена душа современного мира.

Александр Губенко. 2009

Журналист.

Член Союза Журналистов Узбекистана.



Смерть писателя

Жизнь оказалась довольно интересным занятием, настолько, что наиболее логичным её продолжением становится Смерть

Слякотным апрельским утром, хоронили писателя Ивана Данилыча Верховского. Погода была отвратительная. Серая пелена, окутавшая небо, скудно просеивала сквозь плотную, как бабушкин кисель субстанцию тусклый холодный свет несмелого ещё весеннего солнышка. Моросил противный мерзкий дождик, превращая ни в какую не желающий таять снег в преотвратное месиво песка, грязи, воды и ещё чего-то склизкого, холодного, мокрого, бесстыдно проникающего сквозь любую, даже самую резиновую обувь, одежду, кожу и оседающего где-то внутри навязчивым, долгоиграющим ревматизмом. Или уж как минимум насморком. Было грустно, то ли от такой погоды, то ли от тяжёлой утраты, понесённой отечественной литературой в лице безвременно почившего Ивана Данилыча – скорее всего, и от того и от другого. Во всяком случае, погода пришлась как раз подстать происходящему. Хоронили писателя за городом. На городском кладбище не было места, оно давно уже было закрыто для захоронения ввиду абсолютной переполненности. Как не уговаривали городское кладбищенское начальство организаторы траурного мероприятия – драматург Лычкин и молодой поэт Завьялов-Кунцевич – чтобы сделать исключение для покойного, ничто не помогло. Какие только доводы не приводили они в пользу своего прошения. И что усопший был председателем правления местного отделения Союза писателей, и что, дескать, не одно поколение советских, а ныне российских, украинских, казахских, киргизских и прочее-прочее граждан выросло на его произведениях, впитав с материнским молоком дух борьбы и просвещения, жирно намазанный щедрой рукой гения на сермяжный хлеб правды и истины. Наконец, вдова не постоит за щедрой благодарностью. Всё напрасно. То ли вдова таки постояла, то ли кладбищенское начальство не употребляло сермяжного хлеба ни с какими намазанными на него ингредиентами, только хоронить Ивана Данилыча пришлось на загородном сельском погосте.

Ну и что ж с того? Покойный всегда, ещё при жизни, тяготел к простому народу. К тому же совсем недалеко от кладбища находится его (простите, уже не его) шикарная дача, в стенах которой были написаны все нетленные шедевры последнего периода жизни автора. Что же касается вдовы, то едва только майское солнышко пригреет набухшую от талого снега землю, и вплоть до самых ноябрьских затяжных дождей она всё время безвылазно проводила здесь. Так что сам Бог велел – и земля местная, что называется, будет ему пухом, и скорбящая муза рядышком.

До кладбища ехали довольно долго и скучно. Старенький как мир ритуальный автобус, судя по скорости передвижения и по режущему слух скрипу всех его составляющих, провожал в последний путь многих, очень многих представителей рода человеческого. Он осторожно объезжал ухабы и рытвины взбухшего язвами и гнойниками асфальта, постепенного здесь, должно быть, ещё в позапрошлом веке, страдальчески охал, подпрыгивая, если объехать препятствие не представлялось возможным. А когда тяжело опускался после очередного прыжка на грешную землю, создавалось впечатление, что в последний путь направляется не только Иван Данилыч, но и его катафалк вместе со всеми провожающими. Покойному писателю-то было всё равно, да и автобусу, наверное, тоже, а вот провожающим.... Наконец, древняя колесница остановилась, вздохнула натужно последний раз и замерла.

– Усё! Прыйихалы! – торжественно сообщил возница, в глухом чёрном смокинге сверху и в выцветшем, с коленками, трико и кедах снизу, – Асфальт скинчился! Дали ножками, на ручках!

– Как же так?! Что же это за издевательство над покойным?! Прямо вандализм какой-то! Ничего святого! – гневно ворчали в усы и носовые платки провожающие. Но спорить с возникшей не осмелились, ещё назад ехать отсюда.

Все вышли, вывели под руки безутешную вдову, вынесли полное собрание сочинений на бархатных рубинового цвета подушечках, достали из автобуса гроб с телом и выстроились стройной, правильной, согласно ритуалу, колонной.

– Куда идти-то? – вслух высказал общий вопрос поэт Завьялов-Кунцевич.

– Гэть отам, – показал пальцем возница. – Через калюжыцю, у стовпця праворуч, за чагарнымком та йе цвынтар, ось. Отутэчки нэдалэко.

Осталось загадкой, понял ли кто-нибудь конкретные и исчерпывающие указания водителя. Но оркестр ударил траурный марш, и процессия двинулась в направлении, согласно указующему персту.

– Тяжёл же, боров, – думал про себя (в смысле, не вслух), несущий на своём левом плече гроб с телом покойного его ближайший друг и брат по перу писатель Перомани. – Надо ж как отъелся, а ещё говорят, писательский хлеб горек. Горек-то он горек, но видно не для всех. Вон Лычкин, драматург ити его...! Прихлебатель хренов! Всегда был прихлебателем, и теперь вон, веночек несёт, самый маленький выбрал, самый лёгенький. «От собратьев по литературному цеху». Ой-ёй-ёй! Мать твою! Собра-атья!... А когда пьесу твою бездарную, эту, как её... «Диспут товарища Ленина с Марксом о роли крестьянства в эпоху мировой революции» ни один театр ставить не хотел, кто тебе собратом был?! Кто её пристроил?! Кто в сельском клубе организовал народный театр для твоей пачкотни?! Кто?! Перомани. Только теперь это уже...

– Не растягиваемся, товарищи, не растягиваемся, подтянитесь там сзади, – молодой поэт Завьялов-Кунцевич, поддерживающий за правый локоток безутешную вдову, время от времени вспоминал свою обязанность организатора мероприятия.

– Не растя-ягиваемся, не растя-ягиваемся, – передразнил поэта Перомани. – В командиры выбился! Стихоплёт! Знаем, кто тебя выдвинул, сам бы ты со своими стишками так и мыкался бы по третьесортным журналам. А ему сбо-орник, да ещё в твёрдом переплё-ёте! Пока покойный-то Иван по заграницам разъезжал да с читателями встречался, было кому Лизку-то утешать и блюсти. Лизоблюд несчастный! Я б тебе на месте Ивана показал бы сборник! Я б тебе!... Вот и теперь утешает, мастер слова.... По рогам ты мастер! Нет бы, гроб понести, так...

– Ой! Ванечка! На кого ж ты меня покинул?! Как же я теперь?! – голосила безутешная вдова, поддерживаемая с двух сторон.

– О! Запричитала, кукла! – продолжал свой нелицеприятный комментарий Перомани. – Небось, когда рога мужу наставляла, не думала, что Иван уже не молодой, да и здоровьишко уже не то: и мигрени, и печень никуда, да и сердчишко давно пошаливало. Хотя, наверное, именно об этом и думала. А чё ей, баба в самом соку, не старая ещё, можно сказать, молодуха. На кой ей этот старый хрыч? Вот теперь и при деньгах, и при квартире, и при даче, и при машине, и упакованная вся с ног до головы, и при любовничке молодом. Да ведь не иначе как они его и ухайдохали! Точно! Так и есть! Много ль ему, бедолаге надо-то было? Ну, Лизка! Будь я на Ванькином месте, я б тебе показал! Ни за что б не помер, а стащил бы с тебя последнюю шубейку да цацки, что из-за границы понавозил, да в чём мать родила на улицу! Пинка б под голый зад к твоему стихоплюю! Вот тогда посмотрели бы, нужна ль ты ему такая, безо всего, али нет? Потом, конечно, назад бы пустил. Что ни говори, а зад-то у Лизки хорош, да и всё остальное на месте. Да, вкус у Ивана был, чего уж там.

– Не убивайтесь вы так уж, Лизавета Потаповна, – молодая, двадцатилетняя девчонка, поддерживающая вдову за левый локоток, осторожно, чтобы не смазать тушь, промокнула носовым платком предательскую слезинку и шумно высморкалась в тот же платок. – Иван Данилыч для всех нас огромная потеря, он всем нам был очень дорог.

– Да уж! Особенно для тебя! – не оставил без должного внимания и эти слова Перомани. – Помолчала бы, при твоей-то должности, да с такими-то ногами и при новом председателе не пропадёшь! Секретарши всем нужны, особенно такие. Ты гляди-ка, на похороны с голыми ногами припёрлась! Ещё не известно, кто «новый» будет, а товар уже лицом, в ослепительном блеске качества и при полном ассортименте предлагаемых услуг. И как не холодно? Чай не май месяц-то? Хотя, мёрзнет, конечно. Но дело своё знает, дело прежде всего. Я всегда говорил, вкус у Данилыча есть. Что да, то да. Пока жена ему со стихоплюем голову разветвлениями украшала, он ей через секретаршу то же место тем же орнаментом. Молодец мужик! Так тебе, Лизка! Эх, если бы я был председателем, я бы тоже украсил, да так, что хоть гирлянды вешай.

Тут вдруг ему на лысину плюхнулось что-то мокрое и склизкое. Надежда ещё оставалась, когда он правой свободной рукой ощупывал голову, но как только, опустив руку до уровня глаз, увидел на ладони бело-серо-чёрную плохо пахнущую жижицу, сомнения пропали сами собой. Где-то наверху картаво прокаркала ворона и кроме матерных, отнюдь не литературных слов ничего не оставила в и без того бунтующем сознании Перомани. Наверное, воронья мама не к месту была упомянута им вслух, и довольно громко, потому что собратья по перу дружно оглянулись в сторону прозаика, а вдова даже на время перестала причитать. Но вовремя грянувший аккорд траурного оркестра благополучно исчерпал инцидент.

– Вот ведь гадина! Нашла, где с...ть! – негодовал про себя оскорблённый донельзя Перомани. – И почему именно на меня?! Кругом столько достойных кандидатур, включая покойного Ваню! Ему-то уж точно всё равно! Да ему всю жизнь везло – и в школе, и в литинституте, и потом. Как публикации, так Верховскому, как книгу, так опять ему! Девки, и те всю жизнь возле него вертелись! А на меня ноль внимания, одни только вороны. Премии, звания, заграникомандировки... всё Ване да Ване! в Союз писателей – пожалуйста Иван Данилыч! В президиум – будьте любезны, не откажите! Полное собрание сочинений – кто ж как не товарищ Верховской оставил наиболее яркий след в современной отечественной литературе! А я?! А Перомани что хуже?! А у кого он сочинения в школе скатывал, кто ему рассказы правил, кто с Лизкой познакомил, кто в правлении всю рутинную, неблагодарную работу на себя взвалил и тянет, кто, в конце концов, всю жизнь, всю его писанину первый читал и ляпы исправлял?! Кто?! Я вас спрашиваю, кто?! Перомани! А где благодарность?! Где?! Вот она – гроб с жирным боровом на плече своём натруженном несущий, согнувшись в три погибели, пока этот его протеже Завьялов-Кунцевич его же вдову охмуряет, да на голые коленки его же секретарши, облизываясь, заглядывается. Эх, Ваня! Да я бы на твоём месте... был бы я на твоём месте... уж я бы тебя, то есть себя, не забыл бы... уж я бы тогда... уж я бы.... Эх! Если бы я только был бы на твоём месте....

За такими скорбными мыслями Перомани не заметил, как дошли до свежевыкопанной могилы, как поставили гроб на две табуретки для прощания с телом. Завьялов-Кунцевич, Лычкин и некоторые другие прочитали по заранее заготовленным бумажкам полные слёз и пие-тета напутственные речи покойному. Вот уже вдова в чёрном траурном наряде («Чёрт возьми, а ведь как ей идёт траур», – тогда ещё подумал Перомани) первой подошла к усопшему, чтобы в последний раз поцеловать его и сказать полные горя прощания. Следом за ней один за другим подходили остальные участники траурной процессии, среди которых был и он, Перомани.

Прозаик приблизился к гробу, вытер рукавом пальто скупую мужскую слезу, наклонился к телу для прощания с другом и... в ужасе попятился назад. В домовине, на белоснежной атласной подушке, укрытый такой же белоснежной простынёй, в чёрном твидовом костюме, как живой, гладко выбритый и румяный лежал он сам, Перомани.

Неожиданно гроб приподнялся над землёй и поплыл куда-то в сторону. Следом потекли скорбные лица провожавших, за ними голые берёзы, упирающиеся кривыми верхушками

в серое грязное небо, по которому кружили нескончаемый хоровод оголтелые вороны, оглашая окрестности нестерпимо громким картавым карканьем. Затем всё потемнело и стихло.

Очнулся Перомани в автобусе. В себя его привёл противный, будоражащий все внутренности запах нашатырного спирта, склянку с которыми ему настырно совала в нос какая-то неприятная баба. Все уже расселись по местам, и траурная колесница тронулась в обратный путь. Какие-то люди всё время подходили к нему, участливо интересуясь его самочувствием, что-то предлагали, о чём-то спрашивали, но он ничего не слышал, ничего не понимал. Перед глазами всё ещё стоял гроб с телом, с его собственным телом внутри. Надо же, привидится ж такое. Всю обратную дорогу он только и делал, что отчаянно боролся с наваждением, никак не желая отстать, отвязаться от него. Ему было откровенно плохо, поэтому, когда автобус подъехал к дому покойного, Перомани не пошёл вместе со всеми на поминки, а, посидев с полчаса во дворе на лавочке, отправился к себе, благо его квартира находилась тут же, в том же доме. Они с Ваней Верховским всегда дружили, ещё со школы, поэтому и квартиры выхлопотали в одном подъезде дома, отведённого для местного отделения Союза писателей.

Перомани поднялся в лифте на свой этаж, подошёл к двери квартиры, оббитой коричневым дерматином (он не мог, как Ваня Верховской, позволить себе натуральную чёрную кожу), сунул ключ в замочную скважину.... Дверь, легко поддавшись, открылась сама.

– Вот паршивец, – подумал писатель о сыне. – Опять дверь не запер. Заходите, люди добрые все, кому не лень! Ну, придёт, я ему задам.

Внутри квартиры послышался лёгкий шум и звон посуды, а гардероб в прихожей был плотно набит чьей-то верхней одеждой.

– Неужели опять вечеринка у дочери? – с тяжёлым вздохом подумал он, снимая мокрое от дождя пальто. – Этого мне только сейчас не доставало. И ведь не предупредила же, что гостей ждёт.... Хотя да, я же должен быть на поминках у Вани. Ладно уж, пойду к себе, прилягу.

Перомани зашёл в гостиную и увидел богато накрытый стол, за которым сидело множество народу. Люди пили и закусывали молча, скорбно опустив лица долу. Всё это не походило на обычно шумные, феерические гулянки бесшабашной молодёжи. Но больше всего удивлял вид его собственной жены во главе стола в чёрном траурном наряде и с заплаканным лицом. А так же большая фотография в траурной рамке, с которой на него, на живого смотрел он сам, Перомани.

– Иван Данилыч, это Вы? Вы всё-таки пришли? Как Вы себя чувствуете? Вам уже лучше? Боже мой, Вы так переволновались, так переволновались. Конечно, покойный был Вашим другом. Вот она настоящая мужская дружба. Мы так переволновались за Вас, так переволновались. Вы бы поберегли себя, Иван Данилыч, – полетели со всех сторон слова сочувствия.

Его усадили за стол рядом с вдовой, поставили свежую посуду, налили в рюмку водки, и драматург Лычкин затянул длинную, скучную речь о том, какой он, Перомани, был хороший человек, верный товарищ, талантливый писатель, и так далее, и тому подобное. Выпили, не чокаясь. Затем встал следующий, и снова длинная речь о его достоинствах. Снова выпили. Затем следующий, и снова, и снова, и снова. Несмотря на всю курьёзность происходящего слушать о себе столько лесных отзывов было, чёрт возьми, приятно. И скоро Перомани уже стало нравиться его теперешнее положение, особенно те перспективы, которое оно ему рисовало.

– Иван Данилыч, – двусмысленно улыбаясь, проговорила над самым его ухом секретарша. – А что, Лизавета Потаповна не придёт? И Завьялова-Кунцевича что-то нет.... Зато я подготовила документы, те самые, как Вы просили. Они у меня с собой. ВСЕ! Не желаете ознакомиться?

– Обязательно ознакомимся, – облизнулся захмелевший Перомани-Верховской. – Сегодня же, и во всех подробностях, с пристрастием. А Лизку вон! Стяну шубу и, в чём мать родила... под голый зад. Шалава, блин. И этого, как его, Завьялова-Кунц... Кунц... Кунцевича тоже вон! Тоже под зад коленкой, стихоплюй хренов! – новое положение вперемешку с нема-

лым количеством уже выпитого кружило голову, приятно щекотало нервы и производило все те действия, от которых с простым человеком, незнакомым ещё с ними, может случиться.... Да чёрт знает, что с ним может случиться! – И вообще, теперь всё будет иначе, всё! – он не на шутку разошёлся, встал и, тяжело опираясь на стол, озирает притихшее собрание гневным властным взором. – Всех под зад коленом! Всех!

– Помилуйте, Иван Данилыч, нас-то за что? – взмолились перепуганные насмерть гости.

– Вас? Не бойтесь, други, вас не трону, – помиловал вдруг Перомани-Верховской. – Покойного моего друга, посмертно представлю к герою! И полное собрание сочинений в десяти... нет, в двадцати томах! Вот! Моей вдове... ой, нашей вдове моего друга пожизненную персональную пенсию по потере кормильца! Ты! – он показал пальцем на секретаршу, – переедешь ко мне, сюда... вернее туда,... ну, где я живу. Лизку вон! Ты женой теперь будешь! Вы, други мои, вы все получите всё! А остальные..., – он гневно постучал кулаком по столу. – Все, кто не пришёл сегодня на мои похороны... всех вон! Всех коленом под зад! Я им покажу! Я им... всем... знаете что? Ну, так я вам сейчас скажу. Это такое... такое... это чёрт знает что такое! Вот! Я... – он крепко сжал в кулаке вилку, будто собираясь выдавить из неё воду, весь напрягся, покраснел, как рак. – Я... я знаете что? Вы ещё меня не знаете. А я вот вам сейчас покажу! Я... Я... Я...

Вдруг стол приподнялся над полом и медленно поплыл куда-то в сторону. За ним, кружась в хороводе, потекли перепуганные лица писателей, поэтов, драматургов. Следом понеслась мебель, посуда, всё задвигалось, закружилось по спирали, в центре которой неподвижно висела в чёрной траурной рамке до боли знакомая фотография.

– Всё! – проговорил человек с фотографии и, растянув до ушей чёрный беззубый рот, захохотал громким дьявольским смехом.

Неожиданно всё стихло, замерло, потемнело, превратившись в плотную чёрную пустоту.

А уже через пару дней, слякотным апрельским утром, схоронили-таки писателя.

Рядовой Майорчик Вася

Эх! Если бы человек был бессловесным, как и прочие земные твари, но оставался бы при этом человеком, он и тогда бы без труда нашёл способ рассмешить кого-нибудь. А уж как мы смешим Создателя своими планами и проектами на будущее. Как дети, право.

1

Жизнь наша с вами полна совершенно неожиданных и премного интересных встреч. Бывало, идёшь по улице, жуёшь себе какое-нибудь эскимо за одиннадцать копеек.... Пардон, таких цен давно уже и в помине нет, равно как и такого эскимо, но как-то вдруг вспомнилось, захотелось, увлекло. Ностальгия, наверное. Так вот, идёшь себе, жуёшь и вдруг встречаешь старого школьного друга, которого не видел уже лет двадцать, а то и все двадцать пять. Ну, как водится, восклицания, объятия, слова, разговоры, воспоминания, тихий уголок, по рюмочке, другой, третьей.... На утро головная боль, похмелье, жена, дети – пока-пока, до скорой встречи, лет ещё через двадцать. Или, так тоже бывает, совершенно случайно, где-нибудь в трамвае, первая, давно забытая, школьная любовь. Тоже тихий уголок, по рюмочке, другой, третьей, воспоминания, разговоры, слова, объятия, восклицания... На утро головная боль, похмелье, её муж, дети.... Но, всё ж-таки, завтра в семь на нашем месте, или не в семь, или не завтра, или не на нашем, а неизвестно где, неизвестно когда, неизвестно зачем. Короче, пока-пока.

А ещё бывает (и это уж точно неожиданно), вовсе не старый, и не друг совсем, а абсолютно незнакомый доселе, совершенно случайный попутчик по жизни. И не попутчик даже, и не по жизни, а так, невольный соучастник кратковременного, малозначительного эпизода, но, почему-то, прочно засевший где-то в уголке памяти и завладевший этим уголком, как полноправный и неоспоримый хозяин. Так бывает, и не редко.

В одна тысяча девятьсот... неважно каком году довелось мне проходить срочную службу в рядах некогда несокрушимой и легендарной советской армии. И забросила меня для этой цели судьба в один из самых отдалённых и самых прекрасных уголков необъятной советской империи, на жемчужину девственно чистого, почти не потоптанного тяжёлым кованым сапогом цивилизации уголка благодатного дальневосточного края – на остров Камчатка. Остров, ввиду совершенной отрезанности от остального мира по причине полного отсутствия сухопутных путей сообщения. Так что сами камчадалы всю оставшуюся от Камчатки часть империи гордо именовали материком. Гордо, не в смысле её, империи то есть, необъятных размеров, а по сути своей полной отчуждённости от её материнской заботы.

Не буду описывать природные достопримечательности места, где мне посчастливилось провести целых два года моей суматошной жизни. Ни трудности и лишения военного быта, ни напряжённость военно-политической обстановки в мире, оказавшей непосредственное влияние на специфическую красоту армейских будней. Всё это достаточно забавно и, безусловно, заслуживает внимания, но к сожалению, не является предметом настоящего рассказа. А потому, пусть полежит себе ещё какое-то время в специально отведённых для этого уголках памяти и подождёт своего часа. Дай Бог, чтобы этот час настал.

2

Речь в данном повествовании пойдёт о человеке весьма достойном и ярком, воспоминания о котором щекочут мозги и приводят сознание в состояние воздушного умиления. Как пузырьки в шампанском. Так что улыбка, появляясь на лице при одном только упоминании его имени, не покидает более своего законного места во всё время размышления об этом человеке. Наверное, я полюбил его сразу, в первый день нашего знакомства. Наверное, я до сих пор люблю его, хотя со дня нашего расставания прошло уже ни много, ни мало, двадцать с лишним лет.

Это был маленький, не более полутора метров ростом, шупленький, тщедушный человек, на вид лет тринадцати, не больше. Слегка кривоногий, слегка косолапый, с бездонными, голубыми глазами на веснушчатом личике и совершенно доброй, бесхитростной улыбкой, которая никогда не покидала его. Он даже плакал, улыбаясь. Человек этот сразу привлёк к себе внимание, стоя в шеренге молодого пополнения, не более часа тому назад прибывшего в нашу роту. И не только тем, что находился в самом её хвосте, ввиду маленького роста. Не столько мешковатостью обмундирования, превосходившего все его вместе взятые габариты на целых два размера и висевшего на нём как на вешалке. Не оригинальностью даже постановки ног по команде «Смирно», то есть, не как у всех, пятки вместе, носки врозь, а совсем наоборот. Конечно, и всем этим тоже, но главное, именно своей улыбкой, по-детски наивной и, как бы, извиняющейся, дескать: «Ну, вот видите, такой уж я есть, чего уж тут поделаешь-то». На него нельзя было сердиться, им можно было только умиляться. И имя у него оказалось подходящее, причём не только к его внешности, но и к той ситуации, в которую он попал, и в которой ему предстояло прожить ближайшие два года. Звали его Вася Майорчик.

Наше подразделение комплектовалось в основном из крупных культурных центров, таких как Москва, Ленинград, Минск, Киев. Или из крепких, выносливых сибиряков, прошедших подготовку в различного рода учебках. Короче говоря, контингент подбирался соответственно той боевой задаче, которая возлагалась на нашу часть, всесторонне развитый интеллектуально и физически. Каким образом попал к нам маленький, шупленький мужичок из глухой воронежской деревушки, так и осталось загадкой. Но не случись этого казуса, не попади он к нам, жизнь наша среди камчатских снегов и сопок была бы гораздо скучнее и прозаичнее.

3

В тот же день, когда Вася вместе с вновь прибывшими пополнил собой наши ряды, начальник отделения капитан Яковлев – человек неглупый и очень дельный командир, один из немногих офицеров, оставивших в моей памяти весьма и весьма положительный след – собрал подчинённый ему личный состав в учебном классе с целью ознакомления с внутренним миром своих новых подопечных. Первым выбор пал на Васю, уж не знаю почему, случайно, наверное. Вооружённый длинной, в три четверти его роста указкой он был приглашён к огромной, во всю стену и разноцветной, как бабушкино лоскутное одеяло политической карте мира.

– Ну, голуба, – таково было любимое внестроевое обращение капитана, – покажи-ка нам блок НАТО.

Вася, виновато улыбаясь, поднял очи к самому верху карты, затем медленно и методично обшарил глазами всю её вдоль и поперёк, ища, видимо, среди множества цветных лоскутков один какой-нибудь наиболее хитрый лоскут, озаглавленный диковинным словом НАТО. В этом многотрудном поиске он пребывал не то чтобы очень долго – всего минут пять. Больше капитан Яковлев ему дать не мог, время занятия, как и терпение капитана, были весьма ограничены.

– Так, понятно. Для первого раза неплохо. А покажи-ка нам тогда Африку.

Вася посмотрел своими кристально чистыми голубыми глазами прямо в мудрые глаза капитана, улыбнулся своей искренней, извиняющейся улыбкой, говорящей: «Сейчас, я попробую, эту страну я знаю, там ещё живут акулы и гориллы, а так же большие, злые крокодилы». Он снова поднял очи кверху и повторил всю процедуру с той же педантичностью.

– Так, понятно. Тоже неплохо, – на этот раз капитан не удостоил Васю пятью минутами, ограничившись только двумя. – Ну, а СССР ты нам, я надеюсь, покажешь?

Не прошло и полминуты, как всем, включая капитана, стало абсолютно понятно, что такую диковину как географическая карта рядовой Вася Майорчик видит впервые в жизни, несмотря на десятилетку, документ об окончании которой, причём совершенно подлинный, находился в его личном деле. Он продолжал невинно улыбаться, смотря то на капитана, то на карту, то куда-то в даль, надеясь, видимо, там найти ответ на каверзный вопрос. Ну откуда ему было знать, что огромный, в одну шестую часть карты лоскут, цветом как плодово-ягодное мороженое за семь копеек бумажный стаканчик, и есть наша Родина – СССР, ведь он никогда в жизни не ел мороженого, даже за семь копеек.

– Ну что ж, с этим мне всё ясно, – подвёл черту капитан. – Последний вопрос, где на карте север? Ты хотя бы ЭТО знаешь, голуба?

То, что последовало за этим, несложным, в общем-то, вопросом, привело в состояние шока не одного только капитана. И дело не в том, что Вася незамедлительно показал ответ, и даже не в том, что он ткнул указкой в Антарктиду, а в том, что это было его первое осмысленное движение к истине, причём, как оказалось, абсолютно логически обоснованное.

– Та-ак! Интересно! – капитан даже привстал со стула. – Обоснуй, голуба, почему именно там, как ты утверждаешь, находится север?

– Дык, вона же белое всё. Значиться, снегу там завались. Значиться, холодно там, мороз. Значиться, север. Вот, – ответил Вася, и улыбка его приобрела какое-то новое, победоносное содержание.

– Правильно! – изумился неоспоримой логике капитан. Но в то же время, желая поймать оппонента на противохвате, выдвинул контрвопрос. – А где ж тогда, по-твоему, юг? Ну-ка, поведай нам, голуба?

Последовавший ответ был столь же стремителен и столь же логически обоснован.

– Солнышко-то, небось, сверху светится, – отвечал Вася, тыкая указкой в северный полюс. – Значиться, тепло тамо, лето завсегда. Стало быть, юг. Правильно?

– Правильно! – только и смог сказать капитан и упал на свой стул. – Сержант Карпинский, через неделю рядовой Майорчик должен знать карту, как Отче наш. Задача ясна?

– Так точно, товарищ капитан, ясна, – ответил я. А что я мог ещё сказать? Разве мог я тогда знать, что все мои попытки привить Васе любовь к географии разобьются вдребезги об его логически неоспоримый контрдовод, заключающийся в одной простой, но усвоенной им весьма твёрдо фразе: «Капитан сказал, ПРАВИЛЬНО!»

4

Время шло. Молодое пополнение привыкало к нашим суровым будням и постепенно влилось в них, найдя своё место в отлаженном механизме никогда не останавливающейся машины. Не нашёл его только Вася. В самом деле, на боевое дежурство он не ходил, так как техника при его появлении тут же ломалась и отказывалась работать, не желая иметь с ним никаких общих дел. В стрельбах он не участвовал принципиально. Но не по религиозным убеждениям, а просто бестолковый автомат, едва попав к нему в руки, самопроизвольно начинал стрелять длинными, причём, очень длинными очередями, отчего ротный командир, вынужденный однажды залечь в новой шинели прямо в грязь, отдал строжайший приказ к оружию Васю не подпускать. От всевозможных строевых смотров его попросту прятали, так как смотреть без истерического, до боли в животе смеха на марширующего косолапного Васю было невозможно. Его искренняя убеждённость в том, что вся изюминка строевого шага заключается в громкости топанья, заставляла рядового Майорчика с невероятным усердием, обливаясь потом, вдавливать подошвы сапог в бетонный плац. А руки при этом давали замысловатую отмашку в разные стороны, будто отбиваясь от внезапной атаки отнюдь не условного противника. Единственное занятие, в котором Вася оказался полезным, были наряды на службу в качестве дневального по роте. Тут при нём всё блестело и сверкало, как в музее, так что даже жалко было заходить в казарму после Васиной уборки. Но и здесь не обошлось без казуса.

Васе никак не давались уставы. Не то с памятью у него было плохо, не то специфический язык этой книжицы ни в какую не закреплялся в его голове, только выучить обязанности дневального он никак не мог. Пришлось объяснять своими словами, дескать, самое главное, стоя на тумбочке, кричать «Смирно!», когда заходит ротный майор, или кто старше его, а когда уходит, обязательно вежливо спросить, куда. Во всём остальном слушать и исполнять распоряжения дежурного сержанта. Невелика наука. Вася заступил на тумбочку, и ему это дело так понравилось, что он весь сиял от удовольствия. Ну, во-первых, внушительных размеров штык-кинжал на ремне. Именно штык-кинжал, а совершенно неграмотное слово штык-нож Вася употреблять отказывался наотрез, мотивируя тем, что ножик в кармане, а на поясе – кинжал. Ну да Бог с ним, пусть будет кинжал, против логики не попрёшь. Во-вторых, и это главное, Вася просто млел и таял, как девица, оттого что все, даже офицеры исполняли его команду «Смирно!». Поэтому он орал это слово что есть мочи по поводу и без повода, кто бы ни вошёл в казарму. Пришлось объяснить более доходчиво, кому и что нужно орать. Вася поначалу расстроился – ну как же, такой кайф обломали – но скоро воспарял духом, так как в дверь вошёл комбат в звании подполковника. Вася, что есть мочи, заорал своё любимое «Смирно!». На этот раз всё было правильно, и его похвалили. От радости он чуть не расплакался, обещая и впредь подавать команды правильно. Но когда минут через пятнадцать подполковник собрался уходить, Вася, переполненный служебным рвением, стал лихорадочно вспоминать свои действия на этот случай. Подполковник шёл быстрее, чем Вася думал, поэтому, на всякий случай, он снова гаркнул привычное: «Смирно!». Комбат вздрогнул от неожиданности и медленно развернулся лицом к тумбочке, испепеляя дневального грозным, суровым взглядом. Дневальный понял, что совершил ошибку и, тут же желая загладить её, соскочил с тумбочки, подбежал к подполковнику, на ходу снимая пилотку и теребя её в непослушных руках, взмолился, улыбаясь своей самой очаровательной улыбкой.

– Дорогой товарищу старшенький майорчик, будьте так любезеньки, если Вам не трудненько, скажите мне, ради Христа, куды эта Вы сичаса вот пошли? А то сержант строгий шибко, заругается.

Подполковник долго собирался с мыслями, такое обращение ему приходилось слышать впервые. Хотел, было, закричать на дневального, но, увидав его чистые голубые глаза, его улыбку, буркнул только: «В штаб», – отвернулся и вышел прочь из казармы.

– Ах, спасибочко Вам, товарищу старшенький майорчик, ах спасибочко, век не забуду этой Вашей услуги, – запричитал Вася и, отправляя на место пилотку, снова взошёл на тумбочку. Он был доволен собой вообще и своей находчивостью в частности.

5

Через несколько часов, уже глубокой ночью, когда холодный осенний ветер гнал последнюю пожелтевшую листву с сопок, завывая и свистя Соловьём-разбойником между оконными рамами, когда весь личный состав роты мирно спал и видел цветные сны про дембель, наполняя казарменное помещение ни с чем не сравнимым ароматом, представляющим собой гремучую смесь кирзы и влажных от праведного солдатского пота портянок, когда в самом помещении уже всё блестело чистотой и порядком, наведённом Васиными заботливыми руками, я встал с койки и отправился в умывальник выкурить папироску самой популярной в то время среди солдат марки «Беломорканал» производства Ленинградской табачной фабрики. Мне отчего-то не спалось. В умывальнике я встретил Васю. Он тоже не спал, только закончив уборку, а просто сидел на скамеечке, скумокавшись и, обхватив голову влажными ещё руками, и нервно курил, выискивая редчайшие в солдатской жизни минуты, побыть наедине с самим собой, со своими мыслями. Я подсел рядом и не сразу заметил, что он плакал.

– Что стряслось, Вася? Ты чего это тут, что случилось?

– Да вот, товарищу сержантик, – заговорил он сквозь слёзы, с неизменной улыбкой на лице. – Маманька-то письмецо прислала. Пишут, что скучат, что расхворалась вся, так что картоплю даже откопать-то мочи нету. Так и сгниёт таперя в земле-то, картопля-то.... Забор вдругорядь завалился, некому поправить-то.... Крыша прохудилась, так что весь дождичок прямиком в хату хлыщит, нет никакого удержу.... Зима скоро ужо нагрянит, а председатель дров не даёт. Говорит, нетути, иди, говорит, в лес-то да сама и руби.... А где ж ей? Стара вона уж, да и хворая.... Как же ж она зимовать-то без дров будить? Замёрзнуть родимая, помрёт ведь, наверное, не дожждётся меня.... Я ведь у мамки-то один осталси, нету больш никого, все померли уж.... Пишут, что ждёт меня, не дожждётся, что я у ей одна надёжа и опора.... Приезжай, пишут, сынок, поскорее, не то помру, пишут.... А куда ж я поеду-то, тильки полгодочку отслужил-то.... И в отпуск-то, должно, не пустють, ага, потому, никудышный я солдат-то, так за шо ж меня, в отпуск-то.... А без меня помрёт маманька-то, и крыша вона прохудилась, и дров нетути.... Замёрзнет зимой-то..., и схоронить-то, как следовать, некому будет..., ой-ей-ей...

Смотрел я на него, слушал и думал о сотнях тысяч матерей по всей земле российской, которые ждут сынов своих день и ночь, любят их и хроменьких, и косоньких, и каких бы уж ни были, а только своих, родных, плоть от плоти, кровь от крови, Богом данных, не в капусте найденных. Которые для матерей своих одна единственная надежда и защита. И нету другой такой защиты у матерей наших, которые и старые уж, и хворые, и забытые всеми, но составляющие собой ту самую, вовсе не обезличенную Родину, которую мы здесь защищаем. Жаль, что замполиты нам ничего про эту Родину не рассказывали. А надо бы.

Потерянный рай

*Ночь, улица, фонарь,
и есть аптека
отсюда метрах в ста...*
Руслан Элинин. Русский поэт.

1

«И сотворил Бог человека по образу Своему..., но для человека не нашлось помощника, подобного ему» (Бытие 1.27; 2.20)

Он ехал в аэропорт. Почему в аэропорт? Точно он не знал, никаких конкретных планов предстоящей поездки у него не было, по крайней мере, с утра. Как не было, естественно, и билета ни на один из вылетающих сегодня рейсов. Он просто остановил первый попавшийся таксомотор. А может, это был вовсе и не таксомотор, а так, какой-нибудь частник-бомбила. Просто произнёс в опущенное стекло передней дверцы одно только слово «Пулково», водитель просто назвал какую-то цену, которую он даже не расслышал. Сейчас ему не было никакого дела до таких мелочей, он забрался в автомобиль, уселся на заднее сидение и погрузился в свои мысли. Что он будет делать в аэропорту? Полетит ли куда-нибудь? А если полетит, то куда? И зачем? Прилетев, что будет ТАМ делать? И как долго? Столько ненужных, абсолютно лишних вопросов волновали бы сейчас на его месте сознание любого другого, НОРМАЛЬНОГО человека, и он, то есть человек нормальный, конечно бы нашёл массу удовлетворительных, логически выверенных ответов на все, и даже более. Но ОН не был нормальным человеком, напротив, он был абсолютно ненормальным, то есть не таким как все. Не то чтобы он был такой один, вовсе нет, просто, таких как он больше не было, вот и всё.

– Ну почему? Почему со мной так всегда? – думал он, сидя на жёстком диване на редкость тесного салона автомобиля. – Неужели она не понимает таких простых вещей? Ведь не дура же, должна же понимать! Ведь должна же она, в конце концов, понять, что я не простой человек. Я уникальный! У-НИ-КАЛЬ-НЫЙ! Что я всё могу..., ну, всё..., не просто всё, а... ВСЁ! Ну, хочешь, например, то...? Я могу, или, к примеру, сё...? И это я могу. Да всё что хочешь..., могу, и даже..., и это могу. Я ВСЁ МА-ГУ! А она – вынеси мусор, дорогой; сходи в магазин, дорогой; помой посуду. Нет, я не лентяй, конечно, и не неряха, я, естественно, способен сходить в магазин, мне не трудно, я запросто могу вынести мусор, нет никаких проблем. Только ведь..., это ведь всё, что ей нужно, и больше ей НИ-ЧИ-ВО НЕ НУЖ-НА! Ну, как так можно? Ну как? Как? Неужели ей действительно ничего не нужно? Неужели она не понимает? Ведь не дура же. А если, всё-таки, дура? Если понимает? Если понимает и, тем не менее, не хочет? Нет, так дальше продолжаться не может. Так жить нельзя! НЕ-ВАЗ-МОЖ-НА! Прочь отсюда! Прочь из этого города, из этой страны! Куда? Куда угодно! Хоть в тундру! Главное, поскорее! Поскорее отсюда! На все четыре стороны!

Машина неслась тесным каналом проспекта по серому асфальту унылого города между высоких стен выцветших зданий. Навстречу и параллельно ей двигались такие же безликие автомобили, а по протёртым подошвами белёсым тротуарам семенили на коротеньких ножках бесцветные пятна прохожих, погружённых в свои будничные заботы, озирая тусклыми взглядами блёклый пейзаж прозаических будней. Дорога до аэропорта была не то чтобы длинной, но из-за пробок и светофоров на удивление долгой и скучной. И если бы не мысли, занимаю-

щие собой всё сознание пассажира и отвлекающие его от дороги, то рассказ этот неминуемо вылился бы в целую повесть, такую же скучную и унылую. Но к счастью...

2

«И создал Господь Бог... жену, и привел ее человеку. И сказал человек: ...она будет называться женою» (Бытие 2.22; 2.23)

Автомобиль лихо вырулил на территорию аэропорта и, скрипя тормозами, остановился у подъезда, над которым красовалась табличка «ВЫЛЕТ». Пассажир щедро расплатился с водителем и уже через несколько минут стоял возле огромного электронного табло со светящимися буквами и циферками. Он вовсе не изучал расписание отправления самолётов, а увлечённо наблюдал за причудливой игрой звуков, составляющих собой названия пунктов назначения рейсов, выискивая среди них наиболее соответствующее его теперешнему настроению. Внимание его задержалось и тут же утвердительно остановилось на слове Салоники. Почему именно на нём? И что в данном слове было особенно привлекательным? Сейчас это не имело никакого значения, он привык доверять своему предчувствию и делал это всегда. Надобно сказать, с неизменным успехом. Решение было принято мгновенно, оставалось только взять билет, заполнить бланк таможенной декларации и, потолкавшись какое-то время у стойки таможенного контроля, направиться к трапу самолёта, за которым – свобода. И не просто свобода, а СВА-БО-ДА!!! Но в это самое время случилось то, чего даже он предугадать не мог. Судьба – коварная куртизанка, она порой выкидывает такие штуки, которые не подвластны предвидению даже уникам, подобным ему. И в этом её коварстве заключается иной раз вся прелесть того самого занятия, которое кто-то мудрый и дальновидный назвал некогда жизнью.

Она появилась в зале ожидания вылета так внезапно, как может возникнуть только Она, и как никто и никогда больше не сможет. Она прошла через весь зал, такая юная, лёгкая, воздушная, как бабочка, а следом за ней протянулся, развеваясь мягкими волнами, и сверкая волшебными искрами, розовый шлейф, такой же лёгкий, прозрачный, едва уловимый только для опытного глаза. Каждый, даже мало-мальски сведущий человек знает, что розовый – цвет романтики и приключений, наивности и чистоты. А для такого опытного и могущественного как Он, этот цвет несёт в себе ещё и то, без чего не только прозорливый гений, но и даже самый обыкновенный лох не представляет себе жизни. Она проплыла лёгким, свежим ветерком по залу, и краски мира, озаряясь тёплым и ярким солнечным свечением, вновь заиграли причудливым разноцветьем. Такое уж у неё свойство.

Что же Он мог ещё сделать, как не пойти за ней следом, напрочь позабыв про мелькающие буквы и циферки электронного табло, про билет, про таможенную декларацию. И самое главное, про то, ради чего всё это нужно было ему, ради чего он примчался сломя голову в аэропорт, про то, что находится, как ему представлялось, по ту сторону трапа самолёта. Свобода подождёт, она уже итак долго его ждала, а вот Она не будет ждать ни секунды.

– Извините, не подскажете, где тут выдают бланки таможенной декларации? – спросил Он её, чтобы хоть что-нибудь спросить, когда она возле какой-то стойки писала что-то на листе бумаги.

Она посмотрела ему в глаза и улыбнулась наивной детской улыбкой.

– Так вот же они. Берите любой.

– Что..., прямо любой... можно брать, да? И прямо... вот тут заполнять? – спросил он, заикаясь, и не отрываясь, глядя на неё. – Что..., прямо вот тут, да?

– Да, вот тут. Ой, какой вы смешной, – она простодушно засмеялась. – Ой, что вы делаете? Вы же вверх ногами бланк держите.

– Да? Ой, и правда.... Извините..., я немного рассеян... сегодня. А у вас, случайно, нет... ручки? А то я свою где-то... потерял.

– Да вот же она, вы же её в руке держите, – она уже с интересом смотрела на него, и всё время смеялась, как смеётся ребёнок неуклюжести клоуна в цирке. – Ну, какой же вы смешной.

– Да, правда, вот она..., а я думал, посеял, – Он уже немного справился с первой нерешительностью и смущением, постепенно заражаясь её весёлостью и простодушием. – Скажите, а вы куда-то лететь хотите..., да?

– Ой, ну вы даёте, а что же, по-вашему, можно делать в аэропорту в зале вылета? Грибы собирать что ли?

– Ну..., я не знаю..., может, вы тут просто... гуляете, – предположил Он, понимая, что подобное предположение вряд ли может прийти на ум нормальному человеку.

Она, естественно, засмеялась ещё громче, ещё заразительнее, отчего Он совсем уже пришёл в себя и тоже засмеялся.

– А куда вы летите, если не секрет? – спросил Он уже без всякого смущения.

– Не секрет, в Салоники, – ответила Она, доверчиво улыбаясь.

– В Салоники?! – переспросил Он, будто воскрешая в памяти нечто, связанное с этим словом, а, воскресив, искренне удивился совпадению. – Надо же?! Я ведь тоже собирался сначала лететь в Салоники. Ну, надо же!

– Собирались? А теперь? Что, уже передумали?

– Да! Передумал!

Они снова засмеялись. Со стороны можно было подумать, что встретились два старых, добрых знакомых и весело обсуждают какой-то смешной эпизод их общего прошлого.

– А почему передумали? – смеясь, спросила Она.

– А зачем? Там нет сейчас того, что мне нужно.

– А что вам нужно? Если не секрет, конечно. И где оно сейчас?

– Оно здесь! – почти крикнул Он. – Скажите, пожалуйста, а как вас зовут?

Она перестала смеяться, и, всё ещё улыбаясь, смотрела ему в глаза.

– Вы очень забавный, с вами легко и весело, – Она протянула ему маленькую изящную ладошку. – Любовь. Люба. А вас как?

– У меня очень странное имя, боюсь, вам его не выговорить, – Он принял её ладошку в свою руку, и тёплый ток пробежал через точку контакта от него к ней, а от неё к нему. – Все называют меня просто, Волшебник.

– Волшебник? – Она снова засмеялась. – Какой вы всё-таки забавный? А волшебник – это профессия ваша, да?

– Да, можно так сказать, во всяком случае, я этому учился, – Он перестал смеяться, на губах повис вопрос, сдерживаемый нерешительностью. – Люба, я хочу пригласить вас... поужинать вместе... со мной. Давайте... поедem куда-нибудь. Только не отказывайтесь, пожалуйста, я вас очень прошу.

Она тоже перестала смеяться, и глаза её чуть-чуть погрустнели.

– Спасибо за приглашение, в другое время я непременно бы согласилась, но сейчас... – она чуть сильнее сжала его руку. – Спасибо вам, мне было с вами очень весело и... и легко.

– Но почему? Почему? – заволновался Он, не выпуская её ладошку.

– Как почему? – искренне удивилась Она. – Я же улетаю сейчас. В Салоники. Вы забыли? – вдруг глаза её оживились, в них еле заметно заиграла надежда. – А может, вы снова передумаете и полетите всё-таки. В самолёте продолжим наше знакомство.

– В самолёте? Почему... в самолёте? А в Салониках?

– Увы, – сказала Она со вздохом. – В Салониках меня будет встречать жених.

– Нет, – сказал Он серьёзно. – Мы никуда не полетим, мы останемся... здесь.

– Это почему же? – спросила Она, смеясь. Почему-то ей было приятно его упорство. – Почему ж это не полетим? И почему это – МЫ?

– Потому что я вас не хочу никуда отпускать, – ответил Он совершенно серьёзно.

«УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ ПАССАЖИРЫ, – пронеслось по залу из громкоговорителя. – АВИАРЕЙС НА САЛОНИКИ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ НА НЕОПРЕДЕЛЁННОЕ ВРЕМЯ. ПРИНОСИМ ВАМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ ЗА НЕУДОБСТВА».

– Что? Как это задерживается? Почему? – Она растерялась от неожиданности и озабоченно озиралась по сторонам, ища где-то в пространстве ответы на свои вопросы.

– Потому что я вас не хочу никуда отпускать, – повторил Он с улыбкой.

– Да... ну причём здесь вы? – махнула Она рукой.

– Притом, что я Волшебник, я же вам говорил.

– Но это невозможно! Вы, наверное, меня разыгрываете? Это шутка такая, да? Шутка?

Она направилась вдруг к окошечку стола справок и через пару минут вернулась, растерянно глядя на него своими большими глазами.

– Там сказали, что в Салониках бастуют авиадиспетчеры, все рейсы отменены на неопределённое время.

Он пожал плечами, и этот его жест, должно быть, означал: «Вот видите, я же вам говорил».

– Но меня же ждут, он же будет встречать меня, волноваться! – забеспокоилась Она.

– Не переживайте, он вас не ждёт, – сказал Он серьёзно. – И это уже не я, это правда.

– Как не ждёт? Что вы говорите? Ничего не понимаю.

– Да вот, убедитесь сами, – Он протянул ей клочок бумаги, на котором были написаны три цифры. – Позвоните по этому номеру и всё услышите.

– Что это за номер? Как я позвоню по нему? – растерянно спросила Она, разглядывая бумажку. – Здесь же всего три цифры какие-то, таких номеров не бывает. Вы опять шутите? Вы разыгрываете меня, да?

– Это внутренний телефон его номера в отеле. Звоните, не сомневайтесь, я соединю.

– Как это, вы соедините? Каким образом? – дивилась Она, машинально набирая номер на своём мобильнике. – Вы что, коммутатор?

Он снова пожал плечами и, скрестив руки, стал внимательно наблюдать за изменяющимся выражением её лица. Губы его улыбались, а глаза выражали торжество современной магической мысли.

– Ну что, убедились? – произнёс Он довольный собой, когда Она в полной растерянности, автоматически отключила мобильник и бросила его в сумочку. – Что я говорил?

– Там какие-то женские голоса..., музыка..., тусовка какая-то..., ничего не понимаю.

– Только не подумайте, что это всё я подстроил, я только соединил, – умоляюще и, как бы, извиняясь, произнёс Он. – Сейчас он сам вам позвонит, и будет врать, что сожалеет о забастовке, что безмерно скучает и молит Бога, чтобы всё поскорее закончилось.

Не успел Он закончить фразы, как зазвонил её мобильник. Она достала его, прочитала на дисплее определившийся номер и, не соединяясь с абонентом, раздражённо бросила трубку в подвернувшуюся под руку урну. Затем резко развернулась и, ни слова не говоря, направилась к выходу. Шлейф за ней заметно потускнел, постепенно приобретая всё больше колючих, холодных серо-синих оттенков.

– Подождите! Куда же вы? – закричал Он ей в след. – А как же наш ужин?

Она вдруг остановилась, так же резко развернулась назад и подошла к нему.

– Ужин? А поехали! Гулять, так гулять! – Она снова смеялась, но это уже был совершенно другой смех, о чём явно сигнализировал всё более холодеющий цвет её шлейфа.

– Не нервничайте, и не переживайте так уж, – произнёс Он тихим успокаивающим голосом. – Ведь если разобраться, радоваться надо. Беда, предотвратившая ещё большую беду, уже не беда вовсе.

– Да, вы правы, – чуть подумав, сказала Она, успокаиваясь. Затем снова улыбнулась ему своей детской улыбкой и добавила. – Поедьте ужинать, я голодная как волк.

Он взял её за руку и повёл к выходу. Развевающийся мягкими волнами шлейф постепенно розовел, приобретая привычную, естественную для него окраску. Они вышли на улицу, тут же к ним подкатил здоровенный чёрный лимузин и статный, седой водитель в строгом чёрном смокинге услужливо, но вместе с тем с достоинством, открыл перед ними заднюю дверцу. Жизнь снова налаживалась.

3

«Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут два одна плоть» (Бытие 2.24)

Вечер был прекрасным. Они ужинали в каком-то маленьком тихоньком ресторанчике с уютным, романтическим интерьером, не по-российски вежливыми, услужливыми официантами и изумительно вкусной экзотической кухней. Он сам сделал заказ, и на удивление все заказанные им для неё блюда пришли к ней, как никогда, по вкусу. А вино, приятной терпкости и слегка дурманящего аромата, очень походило на то, которое Она только однажды, уже давно, случайно попробовала на какой-то выставке-дегустации и с тех пор безуспешно искала среди дорогущих и изысканнейших марок. Он шепнул что-то на ухо лощёному метрдотелю, и весь вечер для неё, Боже мой, исключительно для неё одной пел её любимый певец её любимые песни. Причём не в записи, а вживую. Затем, они долго гуляли по ночному городу. Юные девушки-цветочницы наперебой предлагали ей её самые любимые цветы, и Он все покупал, веля доставить их по её домашнему адресу. В чёрном небе то и дело вспыхивали и распускались яркими экзотическими букетами разноцветные огни салюта; уличные музыканты на ходу сочиняли и тут же пели для неё свои самые лучшие песни, а художники за одну только эту ночь написали аж семнадцать её портретов. Высокий черноволосый итальянец-гондольер долго катал их в своей гондоле по каналам и протокам, напевая что-то в густые усы на неаполитанский манер. Это была удивительная ночь, самая прекрасная ночь в её жизни. А когда, гуляя по набережной, Она огорчённо заметила, что мосты уже давно развели, и дом её на другом берегу, Он просто взял её на руки и тихо попросил закрыть глаза. Она послушно закрыла, в ожидании нежного поцелуя, лоя своими губами его мягкие, тёплые губы. Поцелуй был недолгим, но достаточным для того, чтобы, открыв глаза, и опустившись с его рук на землю, Она с изумлением увидела, что находятся они уже на противоположном берегу, прямо возле подъезда её дома.

– Кто ты? – тихо спросила Она, лаская его взглядом, как может только влюблённая женщина.

– Волшебник, я же говорил тебе.

– Пойдём, – потянула Она его за руку. – Теперь моя очередь быть волшебницей.

Она и впрямь оказалась настоящей кудесницей, не по опытности, конечно, но по силе чувства, нежности, обаяния, по жару юной неискушённой страсти и жертвенной щедрости девичьей любви, отдающей себя всю, без остатка во власть любимому. Её маленькая, уютная квартирка, сплошь уставленная корзинами свежих цветов, благоухала волшебными ароматами Едемского сада, как благоухали их души, растворённые друг в друге, впитавшие в себя беззаботное счастье царствования над миром, созданным Богом только для них двоих.

4

«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене...» (Бытие 3.01)

– Мама! Мамочка! Я так счастлива! Ты не представляешь себе! Он волшебник! Он просто волшебник!

– Ты откуда звонишь, дочка? Из отеля? Как ты доехала? Вадик тебя встретил?

– Да нет, мама, я никуда не ездила, я дома.

– Как не ездила? Вадик сам приехал? Что случилось? Я ничего не понимаю.

– Да какой Вадик? Вадик твой прохвост ещё тот. Я сама никуда не поехала, мама, я встретила другого человека. Он чудо, мама, он просто чудо!

– Какого другого человека? Когда встретила? Где?

– Вчера, в аэропорту.

– Как вчера?! Ничего не понимаю. Ты поехала к Вадику, и в аэропорту встретила какого-то другого человека?! А Вадика, значит, побоку, так что ли? А кто он такой? Откуда взялся? Он у тебя? Ты что, уже переспала с ним?

– Мама, мама, ты ничего не понимаешь! Он чудный! Он просто чудо! Ты не представляешь, какую ночь он мне сегодня подарил! Столько цветов! Стихов! Песен! Такой салют! Мама, ты видела салют сегодня ночью?

– Какой салют, доченька? Ты доведёшь свою мамочку до инфаркта, наконец!

– Мама, я люблю его! Я полюбила, мама! По-настоящему! Впервые в жизни!

– Ну, полюбила? Ну и что? С кем не бывает в твоём возрасте? Это ещё не повод, доченька, терять голову и бухаться в постель с первым встречным! Вы хоть, я надеюсь, предохранялись? А вдруг у него СПИД?! У него справка есть? Он тебе показывал?

– Мама! Ну что ты говоришь такое?! Какая справка?!

– Обыкновенная справка. Твоя мамочка знает, что говорит. У неё знаешь, сколько таких любовей было? Но она никогда не теряла голову... и бдительность.... Так, я немедленно звоню Исааку Иосифовичу, сегодня же поедешь к нему в клинику, проверишься!

– Мама!

– Кто он? Как его имя, фамилия? Ты его паспорт смотрела? Чем он занимается? Где работает? Кто его родители, в конце концов? Небось, студентик какой-нибудь, из какого-нибудь Мухосранска? Я эту публику ох как хорошо знаю. Понаедут тут, понацепляют серёг в уши да в носы, как аборигены какие-то! Только и думают, чтобы подцепить какую-нибудь дуру, вроде тебя, и осесть в Питере на всём готовом!

– Мама!

– Ну что мама?! Что мама?! Не хватало мне ещё эту голь перекатную кормить!

– Он не голь! Он сам три белорусских фронта накормить и одеть может!

– Да? А где он работает? Он бизнесмен? Депутат? Сколько ему лет?

– Он Волшебник!

– Волшебник это не профессия! У меня знаешь, сколько волшебников в молодости было?! Все они волшебники поначалу! Деньги-то у него есть?

– Если бы ты видела, мама, сколько он денег за одну эту ночь на меня потратил! Твой Вадик – нищий по сравнению с ним!

– Да? И что, приличный человек? Хорошо одевается?

– Мама, я же говорю, он просто чудо!

– Да? Ну ладно. Ты с ним переспала уже? Вы не предохранялись?

– Мама!

– Ладно, ладно, дочка. Но всё равно послушай свою мамочку, мамочка плохого не посоветует: проверь его, как он, хозяйственный мужчина, или нет? Пошли его в магазин, пусть картошку почистит, попроси мусор вынести, в конце концов. А то знаешь, как бывает? Потом воспитывать придётся, лучше сразу поставить всё на свои места. Он что сейчас делает?

– Спит.

– Спит?! Разбуди его! Только поласковой, ну там чмокни в щёчку, или ещё чего такого. Ну ты знаешь, ты уже взрослая. Они это любят. А как встанет, припаши слегка, пусть привыкает. А я скоро приеду, посмотрю на будущего зятя, тогда всё решим. Не отпускай его далеко, я скоро. Ну, пока, дочка.

– Пока, мама.

Он проснулся в благоухающем Едемском саду её меленькой квартирki. Открыл глаза навстречу яркому, ласковому солнцу, озаряющему всё бескрайнее пространство сада волшебным утренним светом. Поднялся с ложа любви, наполненного ароматом её тела, надел поверх ничего тогу, свободно висящую на спинке стула. Подойдя к зеркалу, водрузил на голову лёгкий венок, сплетённый из ветвей вечнозелёного лавра, и, взяв в руки серебряную лиру, полетел, почти не касаясь сандалиями пола, на кухню, из которой доносилось нежное воркование его голубицы.

– Любимая, послушай, я написал стихи, я написал их тебе, это лучшее, что я когда-либо писал!

Она в лёгкой белой сорочке тоже поверх ничего вспорхнула с дивана, бросив на мягкую подушку телефонную трубку, приблизилась к нему вплотную, так что он почувствовал упругость её груди, нежно обняла его и чмокнула в щёку.

– Дорогой, подожди со стихами, потом стихи.... Сходи лучше в магазин, дома хлеба нет ни крошки. Вот я подготовила тебе список, чего и сколько нужно купить. Да, на обратном пути, раз уж ты идёшь в магазин, заскочи в химчистку, а то я уже месяц никак не соберусь. Да, ещё, заодно уж, вынеси мусор.

Он вышел из подъезда на улицу с большим полиэтиленовым мусорным мешком в руке. По серому асфальту унылого города мимо высоких стен выцветших зданий двигались безликие автомобили, а по протёртым подошвами белёсым тротуарам семенили на коротеньких ножках бесцветные пятна прохожих, погружённых в свои будничные заботы, озирая тусклыми взглядами блёклый пейзаж прозаических будней. Он просто поднял руку, просто произнёс в опущенное стекло передней дверцы подкатившего таксомотора одно только слово «Пулково», даже не расслышав цену, которую назвал водитель, забрался в автомобиль, уселся на заднее сидение и погрузился в свои мысли.

– А это зачем? – спросил водила, показывая на мешок.

– Так..., осколки разбитого вдребезги.

На жёрдочке

Когда-то давно-давно Бог создал человека и, не найдя среди остальной твари никого подобного ему, разделил на мужчину и женщину, обрекая тем самым обе половинки на бесконечный поиск друг друга в толпе проб, ошибок и разочарований. Любовью этот многотрудный процесс назвал сам человек, Бог же под этим понятием подразумевал, судя по всему, нечто иное.

1

Петя Кочетков был, в общем-то, самый обыкновенный человек. Он ничем не отличался от других, не выделялся какими-то особенными талантами на фоне сограждан. Напротив, в общей их массе он как-то невольно ступеньковался, терялся, сливался с этой массой, так что вы ни за что не обнаружили бы его в разношерстной гудящей толпе, будь вы даже на редкость внимательным человеком, а он при этом при всём находился бы в двух шагах от вас. Даже на работе, а работал Петя в одном престижном НИИ рядовым научным сотрудником, и причём уже далеко не первый год, он звёзд с неба не хватал, не блистал, что называется, пылкостью ума и пылкостью фантазии. Он добросовестно и скрупулёзно выполнял свою рядовую работу, получал за неё такую же рядовую зарплату и, в общем-то, пребывал самой, что ни на есть незаметной, серенькой личностью. Настолько незаметной, что мало кто из его сослуживцев даже знал его имя, а уж про отчество и говорить не приходится.

В быту он был тих, скромен, непритязателен и совершенно одинок, так что многие из его соседей даже не могли толком сказать, живёт ли кто-нибудь в типовой однокомнатной квартире за самой обычной, деревянной, выкрашенной типовой коричневой краской дверью, что на девятом этаже их типовой многоэтажки. Петя, конечно же, был когда-то женат, и даже дважды, но это было очень давно и очень недолго, так что старожилы его дома уже и не припоминали, было ли это вообще когда-нибудь. Первая жена от него ушла ещё в те стародавние времена, когда он был молодой и подающий надежды, вторая же и того хуже, уехала в Америку, да так и не вернулась. Причиной же столь обидных неудач в семейной жизни Пети была одна его странность. И не то чтобы какая-то очень уж вопиющая особенность его, в общем-то, незаметной личности, а так, пустячок. Но пустячок значительный, что называется, сам в себе.

Дело в том, что Петя Кочетков очень любил сидеть на жёрдочке, прочно вбитой в оконный косяк над карнизом своего окна, и смотреть через настежь распахнутые створки на копошащихся внизу прохожих и снующие туда сюда автомашины. А особенно на то, как по весне тёмно-серые скелеты деревьев, покрываясь свеженькими, молодыми листиками, постепенно окрашиваются в весёлый, радующий глаз зелёный. Как тёплый летний дождик омывает чистыми, прозрачными струями настрадавшуюся от зноя землю, освобождая её от пыли и городской копоти. На яркое, постоянно меняющееся, как в калейдоскопе, осеннее разноцветье, постепенно редящее и тускнеющее в потоке затяжных ноябрьских дождей. На чистое и мягкое как пух снежное покрывало, укутывающее вдруг, за одну только ночь землю белым саваном, покойным и недвижимым как смерть, но чуть проснётся город, закопошится снующими туда сюда тараканами машин, так саван, словно тонкая марля расплзается на рваные, бесформенные лоскуты, чтобы за ночь сшитый невидимой рукой, снова укутать землю, даря ей покой и отдохновение. Петя мог часами, да что там, по целым дням, когда не нужно было идти на работу, предаваться этому своему увлечению, невзирая на погоду, на социальное переустройство жизни, на политическую обстановку в мире, на курс доллара, цены на нефть и газ.

Эка невидаль. Он забывал даже поесть, а только курил одну за другой сигареты да время от времени шумно отхлёбывал из большой кружки с характерным коричневым налетом, остывший уже чай. Вот такой он был человек, Петя Кочетков.

2

Маша Ромашкина, напротив, была выдающейся личностью. Нет, конечно, её научные открытия не перевернули все веками утвердившиеся представления человечества о мироздании, её спортивные достижения не расширили существенно рамки физических возможностей человека, её романами не зачитывались целые поколения читателей из разных стран мира. А всё потому, что ни открытий, ни спортивных достижений, ни, тем более, романов, связанных каким-нибудь образом с её звучным именем, попросту не существовало. Зато Маша обладала яркой, действительно выдающейся внешностью и, вместе с тем, ранимой, тонкой душевной организацией, что само по себе в наш беспринципный век является исключительно редким и даже уникальным сочетанием.

Маша была на редкость красивой девушкой, но вместе с тем, не любила этой своей красоты, доставлявшей ей немало огорчений. Ещё с юности она мечтала о сцене, о главных ролях в кино, наконец, о большой, неиссякаемой любви. Но её путь к искусству оказался более чем труден и тернист, что же касается любви, то об этом и вспоминать не хотелось. Ещё в девятом классе она была изнасилована своими же одноклассниками, поэтому школу пришлось заканчивать уже в другом городе, и даже не в городе, а в небольшом посёлке, где жила её бабушка. Посёлок был маленький и скучный, без каких бы то ни было достопримечательностей. Люди в нём работали и пили, пили и работали, а когда в начале девяностых работы не стало, то просто пили. Маша как-то сразу не вписалась в серую будничность, в которой прозябали местные жители, поэтому, в конце концов, в один прекрасный день ей также напомнили, что она таки женщина, и на этот раз уже более авторитетно.

В Москве, куда она приехала, так и не окончив школу, её, слава Богу, больше никто не насиловал, то есть не использовал молодое прекрасное тело без согласия на то хозяйки. Но и другой возможности как-то устроить свою жизнь, без использования тела, ей не представилось. Поэтому, проработав какое-то время проституткой в одном из престижных борделей, но, не утратив природной тяги к искусству, она, наконец-то, нашла более-менее приемлемый компромисс.

Один известный скульптор ставил тогда в одном из многочисленных городских парков памятник поэту Александру Блоку и предложил Маше участие в этом своём проекте. Надо сказать, замысел автора оказался на редкость оригинальным и даже где-то революционным. В самой композиции места великому русскому поэту не нашлось, да и не могло найтись. Скульптор смотрел куда дальше и выше, чем простое копирование в бронзе фигуры знаменитого автора «Незнакомки». Он, стремясь передать сам дух бессмертного творчества поэта, изобразил в белом, как снег, мраморе круглую беседку с шестью колоннами по окружности, внутри располагалась деревянная скамейка, на которой восседала юная, грациозная незнакомка в лёгкой шляпке с вуалью на изящной головке и с томиком Блока в руке. Надо ли говорить, что кроме шляпки на незнакомке ничего более не было? А вся неподражаемая оригинальность композиции заключалась в том, что сама фигура девушки, по замыслу автора, должна быть не мраморной, как беседка, и даже не деревянной, как скамейка, а абсолютно, что ни на есть живой! Трепетной! Дышащей! Именно эта роль и была предложена Маше Ромашкиной, и она, подумав, согласилась. Ещё бы! Хотя, ещё не совсем актриса, но уже и не совсем проститутка.

Маша каждое утро добросовестно шла на работу к открытию парка, а вечером, как только его огромный кованые ворота закрывались, уходила домой, неся на себе печать блоковского гения, персонаж которого она играла одухотворённо и самоотверженно, как самая настоящая актриса. Она была очень хорошей девушкой, у неё, в принципе-то, был только один недостаток: Маша любила Филиппа Киркорова, любила искренне, самоабвенно, всей душой. Она посещала все его концерты, скупала все новые диски, не пропускала ни одного его выступления,

или хоть даже интервью по телевидению, и однажды даже проколола шилом колесо автомобиля одной известной эстрадной примадонны. Но Филипп не отвечал ей взаимностью, он о ней попросту не знал. Вот так она и жила, Маша Ромашкина.

3

Они встретились случайно, в одном маленьком недорогом кафе, куда Маша всякий раз, идя с работы, заходила перекусить круассанчиком с чашечкой чёрного кофе. Пете не то чтобы нравилось это заведение, не очень чистое, не очень чтобы тихое и уютное, напротив, засиженное вечно пьяными завсегдатаями с кроличьими глазками, всегда шумно обсуждающими недавнее поражение «Спартака». Просто оно находилось по пути с работы домой, и ежедневное его посещение, чтобы пропустить пару стаканчиков недорогого вина да поглазеть на неизменный пейзаж за пыльным окном, возле которого стоял облюбованный им столик, стало уже укоренившейся с годами привычкой. Кроме того, в последнее время появилась ещё одна причина, влекущая его сюда.

Дело в том, что ежевечерне, в один и тот же час в кафе заходила прекрасная незнакомка и всякий раз, «медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садилась у окна», к тому самому столику, за которым уже сидел он, Петя. Она неизменно заказывала чашечку кофе с круассаном и, повернувшись к окну, принималась наблюдать тот же пейзаж. Девушка никогда не замечала его присутствия, что было само по себе вовсе не удивительно, он же с любопытством рассматривал её тонкие черты, бездонные, синие глаза, всегда подёрнутые оттенком какой-то мучительной грусти. Ему было хорошо рядом с ней, жаль только, что посещения её длились недолго. Спустя всего несколько минут она, докушав круассан, и допив кофе, уходила восвояси, а Петя, выждав паузу, допивал вино и отправлялся на свою неизменную жёрдочку. Так было всякий раз на протяжении целого лета, но только не сегодня.

Сегодня почему-то (такого не было ни разу, никогда) она, дожевав круассан, медленно перевела взгляд от окна к тому месту, где находился он. Долго и пристально незнакомка всматривалась в пространство, как будто на месте чёрной пустоты постепенно материализовывалось нечто, приобретая со временем человеческие очертания, и сформировавшееся, в конце концов, в него, в Петю Кочеткова, заинтересованно рассматривающего её.

– Ой! – произнесла она от неожиданности. – Вы кто?

– Никто, – ответил он смущённо. – Просто пью вино. А вы, наверное, актриса?

– Я...? Актриса...? Почему... вы так решили? – она засуетилась, как ребёнок, застигнутый врасплох за шкодой, и собралась, было, уйти, но вместо этого, почему-то, закурила сигарету. – Да, я актриса! Как вы догадались?

– Не знаю, может, мне так показалось, – он тоже закурил свою. – Вы так похожи на блоковскую «Незнакомку»..., вы её сейчас репетируете...? Вот и томик Блока всегда при вас.

– Да, я играю сейчас «Незнакомку», – она улыбнулась, ей, конечно же, было приятно. – А что, похоже, да?

– О! Вы так гармонично влились в образ..., что даже вне сцены..., как это сказать... продолжаете жить в роли.

Петя говорил искренне, и его искренность подкупала. По крайней мере, Маша буквально растаяла от этих его слов. И что ж тут удивительного? Она их слышала впервые.

– Спасибо! Вы не представляете, насколько мне это важно, – она улыбалась открытой, детской улыбкой, а глаза светились благодарностью. – Кто вы? – спросила она после непродолжительной паузы.

– Я? Никто.... Нет, в самом деле, никто, – он немного смущался, но, наконец-то, решился протянуть ей руку. – Петя... Петя Кочетков, если вас это устроит.

– А я Маша, – она вложила в его руку свою маленькую тёплую ладошку. – Мне очень..., нет, в самом деле, очень приятно.

4

Из кафе они ушли вместе. Почему? Но ведь ни с кем из посетителей никто из них больше не был знаком.

Они пошли к нему. А куда же ещё? Он жил тут неподалёку, почти рядом. К тому же, он умел чудно варить кофе, а уж как она любила этот напиток.... По дороге он купил бутылку вина, круассанов и маленькую белую розу – символ чего-то такого, чего они сами ещё не могли толком понять.

– Ты любишь Филиппа Киркорова? – спросила она, когда пустая бутылка уже стояла на полу возле столика, от круассанов осталось только несколько крошек, а кофе..., что ж, нужно было в который раз вставать с мягкого, уютного кресла и идти на кухню, чтобы сварить в турке этот чудесный напиток. На улице уже стемнело, в чёрном небе зажглись крохотные звёздочки, а по комнате, слабо освещённой мягким светом бра, медленно проплывали замысловатые волны табачного дыма.

– Нет, не люблю, – ответил он, вставая и беря в руку турку.

– Как это? Подожди, как это не любишь? – остановила она его. – Ты не любишь Филиппа Киркорова?!

– Нет, не люблю, – повторил он, снова усаживаясь в кресло, и глядя на неё слегка влажными от выпитого вина глазами. – А почему я должен его любить?

– Ну, как же? Как? Ведь он такой милый, такой душка, его нельзя не любить!

– А я не люблю, и не вижу в этом ничего странного.

– Этого не может быть, – она растерянно смотрела на него, искренне недоумевая, что он, именно он может не любить такого замечательного певца, и человека, и мужчину наконец. – Как же это? Этого просто не может быть! Петя, может, ты меня не понял, я говорю про Киркорова! Про Филиппа Киркорова!

– Ну и что?

– Как это что?! Ну, как это что?! Это же КИР-КО-РОВ! Ты что, не понимаешь?!

– Не понимаю, – просто и спокойно отвечал он. – Не понимаю, почему я обязательно должен его любить? И почему это тебя так удивляет? Ведь не любит же кто-то сладкое, кто-то не любит пошлые анекдоты, а кто-то не сходит с ума от телесериалов, вообще не смотрит телевизор, потому что там больше ничего не показывают. И никого это не удивляет. А я не люблю Филиппа Киркорова, вот и всё.

– Всё?! – она тяжело дышала, еле сдерживая, рвущуюся из неё наружу бурю негодования. – Ну, знаешь?! Ну, после этого...! Всё...! Да, теперь всё! И я ещё пью вино с этим человеком! Да я...! Я стыжусь, что ещё пять минут назад собиралась переспать с тобой! Теперь знай, между нами всё кончено! Всё!

Она нервно схватила со столика пачку сигарет, вытащила из сумочки CD-плеер с новеньким диском своего кумира, бросила сумочку на пол и, в негодовании хлопнув дверью, вышла из комнаты.... На кухню. А куда же? Не на улицу же ей идти среди ночи?

То ли на маленькой Петиной кухоньке было не так уютно, как в комнате, то ли раздражаемый голос кумира сегодня оказался не столь притягательным, как обычно, только уже через десять минут Маша, выключив плеер, и достав из пачки сигарету, вернулась.

– Я не нашла у тебя на кухне спички! – не желая уступать, с обидой в голосе сказала она, войдя в комнату. – Может ты дашь даме при... ку....

Она не закончила фразу, забыв о том, что хотела сказать. Недавнее раздражение тоже куда-то улетучилось, а сигарета, слава Богу, так и не зажжённая, упала из её тонкой ручки прямо на ковёр, расстеленный на полу.

– Петя, где ты? – еле выговорила она, озирая растерянным взглядом опустевшую комнату.

– Я здесь, – донеслось от окна.

Она чуть не вскрикнула, увидав в тёмном оконном проёме его маленькую, съёжившуюся фигуру, как бы зависшую между верхней фрамугой и подоконником.

– Что ты, Петя? Не надо. Ты что... задумал? – залепетала она, медленно подходя к окну и протягивая к нему руки. – Ты что? С ума, что ли, сошёл? Что ты? – и вдруг, когда до окна оставалось не более двух-трёх метров, стремглав кинулась к нему, схватила его своими цепкими руками и заплакала.

– Ты что, Машенька? Что с тобой? Ты испугалась, глупенькая? Ты думала, что ли, я в окошко хочу прыгнуть? Как Подколёсин? Здесь же девятый этаж.... Ну, успокойся, дурочка ты моя, ненаглядная....

Он утешал её, как только мог утешать человек, долгие годы проживший в одиночестве, и начинающий уже забывать, что же, всё-таки, такое человеческое тепло и ласка. Он как-то неуклюже обнимал своими сильными руками её хрупкие плечи, гладил её по голове и по спине, как гладят кошку, неумело страстно целовал её мокрые от слёз щёки, глаза, губы....

5

А потом, когда она уже немного успокоилась, он рассказал ей о своём увлечении. О том, что он чувствует, что вообще может чувствовать человек в такие минуты, когда не только над головой, но и под ногами, и слева, и справа, везде одно только бездонное небо. А ты свободный и вольный, как птица, нет, не птица, как Ангел, потому что птица всё же обречена вернуться на грешную землю, а Ангел... О! Ангел, это совсем другое дело!

– Я хотела бы остаться у тебя... с тобой? Навсегда. Но, к сожалению, я никогда, наверное, не смогу как ты сидеть на жёрдочке.... Я такая трусиха.

– А я никогда не смогу полюбить Филиппа Киркорова, – ответил он, смеясь. – Но разве это главное? Разве могут быть счастливы люди, всегда и во всём любящие одно и то же? Напротив, мне кажется, им должно быть скучно друг с другом.

А когда она уже сладко спала под мягким одеялом, заложив ладошку под розовую щёчку, он нежно погладил её по головке, легко-легко, чтобы не нарушать сна, поцеловал и, забравшись на жёрдочку, полетел по своим ангельским делам, очень важным и необходимым. Он не стал сегодня собирать других ангелов, таких же странных и незаметных в обычной дневной жизни, сегодня он всё делал сам. Это было важно для него и нужно для неё. Он хотел собрать этой ночью всё своё искусство, своё умение, свой талант только для неё одной, чтобы она, Маша Ромашкина, его хрупкая Незнакомка увидела сегодня свои самые замечательные сны, самые желанные, самые незабываемые. И пусть даже в этих её снах звучит голос Филиппа Киркорова, это не беда. Ведь каждый из нас любит кого-то, или что-то своё, и это хорошо, это правильно, в этом вся прелесть разнообразия, разноцветья жизни. Главное, и Петя Кочетков был в этом уверен, чтобы мы, люди любили друг друга, любили по-настоящему, принимая всё то, что ему, любимому, дорого, ведь нас осталось так мало на Земле. Тогда для каждого из нас найдётся его место... на жёрдочке...

Двое во вселенной

Они никогда не встречались. Однажды случайно познакомившись во всемирной паутине, они писали друг другу письма, рассказывали о себе всё-всё, делились самыми сокровенными, тайными мыслями, как старые, верные, проверенные жизнью друзья. И там же, в интернете он впервые сказал ей: «ЛЮБЛЮ». Не мог не сказать. Слово это, насыщенное огромным, как земной шар чувством, само вырвалось, выкатилось из его сердца и влилось в её, бьющееся в унисон. Они жили в разных городах, разных странах, удалённых континентах, не похожих друг на друга планетах, но стали вдруг близки одним этим неслучайным, недвусмысленным словом.

Он встречал её в аэропорту. Это была их первая встреча после многих лет удалённой близости. Он не знал, как она выглядит, потому что ещё задолго договорился с ней не открывать приметы друг друга – сердце само должно отыскать, выбрать из сотен прилетевших одну единственную его Девочку. Ему не нужно было знать, он представлял, как вот-вот из распахнутых настежь дверей приграничной зоны выпорхнет она – лёгкая, невесомая как бабочка, прекрасная незнакомка в платье июлькового цвета. Он, конечно, фантазировал по своей всегдашней привычке, но всерьёз ждал именно такую. И она выпорхнула... и именно в том платье, которое грезилось ему. Проплыв не спеша к центру переполненного зала, она пробежала взглядом по толпе приезжающих и встречающих, почти не касаясь никого, пока не остановилась на нём. Больше в этом зале для неё никого не существовало.

Они долго ещё стояли, обнявшись, посреди пустеющего аэропорта, боясь потерять, выронить случайно из рук так чудесно обретшую плоть Любовь. «Пойдём, на нас смотрят, – наконец еле слышно произнесла она. «Подожди, – ответил он одними глазами, – я так долго мечтал о тебе, дай мне почувствовать тебя».

А когда уже ранним утром следующего дня она сидела голенькая на огромной кровати, в которой спал, улыбаясь во сне, её Мужчина, и рассматривала большими, влажными от слезинок глазами его лицо, руки, всё его тело, немой, невысказанный вопрос звучал в её взгляде красноречивее всяких слов.

«Вот и всё произошло. Кто я для тебя теперь? Кукла, игрушка на одну ночь? Любовница, удобная тем уж, что не предъявит никаких претензий ввиду своей значительной удалённости? Жена...? Знаешь ли ты, понимаешь ли, что я сейчас сделала? Почувствовал ли, что я не просто отдалась тебе, как отдавались многие до меня и, я не сомневаюсь, многие после меня? Сегодня здесь я отдала тебе себя всю. Без остатка. Принял ли ты меня?» А он не слышал этих её вопросов. Он спал и видел сон, в котором вместе с ней бежал по горячему песку прибрежной полосы чудного дальнего острова, где зелёные стройные пальмы, ласковое тёплое море, высокое чистое небо, где никогда не заходит солнце, где вечно живёт и никогда не умирает Любовь.

Вечером того же дня он провожал её в том же аэропорту, в котором вчера ещё встречал мечтая, рисуя в кружевах фантазии легкую, невесомую бабочку в платье июлькового цвета. Она улетала в свою далёкую страну, в которую ему навсегда, по жизни заказан путь. Снова между ними образовались города, страны, континенты, планеты, галактики... Но теперь они оба жили в одной вселенной – огромной, бесконечной, вмещающей в себя тысячи тысяч мировоззрений. И в этой необъятности они были тесно близки друг другу. Ведь во всей вселенной и жили-то теперь только эти двое.

Свечечка на холмике под крестом

Сегодня полгода как умер Максим. Мой сын.

С утра я встал пораньше и засобирился на кладбище. Помянуть. Повидаться. В который раз попросить прощения. Он ушёл так рано, так внезапно, и я не могу примириться с мыслью, что не досказал ему, не сделал для него самого главного, что должен был. И буду должен теперь всегда, до конца дней своих. Вот и еду, чтобы ещё раз попытаться отдать неоплатный долг, хотя заранее знаю, что с кладбища уйду ещё более обременённый.

Сын похоронен далеко, в другом городе, в котором он родился, жил со своей матерью – моей первой женой, где умер, можно сказать, у неё на руках. Судьбы наши разошлись, разбежались как тараканы в разные стороны, когда Максимке было полтора годика. Он и пришёл-то в этот мир, будучи уже обречённым на сиротство, на безотцовщину при живом отце. Так, к сожалению, бывает. Так произошло и с ним. С нами.

Дорога длинная, а в виду московских пробок ещё и скучная, утомительная. Разумеется, к месту я добрался с приличным опозданием. Самым последним, когда уже все собрались вокруг аккуратного холмика, занесённого, словно лёгким пушистым покрывалом, свежеевыпавшим за ночь снегом. Тишина и покой погоста, полное отсутствие какого-либо движения и чьих бы то ни было следов окрест обволакивало душу состоянием незыблемости и постоянства, ощущением близости, даже прикосновения к вечности. И только крещенский мороз, яркое, в полнеба солнце и резкие порывы холодного северного ветра возвращали к действительности, к жизни.

У нас есть такая традиция – зажигать на могилке прямо под крестом тоненькую церковную свечечку. Пока она горит – мы вместе с покойным. Разговариваем, рассказываем новости, которых он так и не успел узнать, сообщаем о невзгодах, теперь уже не способных нарушить его покой, о радостях, которыми искренне, как дети, делимся с ним. Кто-то молится, кто-то плачет, кто-то нервно курит в сторонке. А как догорит свечечка, растает в махоньком, но горячем, живом язычке пламени – тут и конец свиданию. Вот и в этот раз мать Макса запалила живой огонёк и поставила подле креста, как когда-то зажгла трепетный и жаркий свет его жизни естественным своим. Могла ли она тогда подумать о свечечке кладбищенской?

Огонёк вспорхнул, задышал еле-еле, оглядел новый для себя мир, в котором ему предстоит прожить короткую, но полную энергии, испепеляющую саму себя жизнь, и встал в полный рост, утверждая себя, заявляя о себе: «Аз есмь!». Вдруг незванный порыв студёного ветра налетел, заколыхал робкую, не окрепшую ещё жизнь, обрушил неумолимый диктат своей власти на слабенькую, неискущённую попытку пробыть на земле хоть сколько-нибудь полезно и важно для окружающих. И умчался восвояси истреблять другие несмелые нарождающиеся огоньки горячей жизни. Свечечка, похоже, погасла. Но уже через пару мгновений опять задышала, затрепетала, вновь обретая в неуёмной жажде бытия и силу, и стать, и смысл. Это повторялось вновь и вновь, и всякий раз крохотный, еле дышащий огонёк оказывался сильнее могучего, не знающего пощады ветра.

– Странно, – произнесла в изумлении мама Максима. – Несколько раз я зажигала свечку, и она неизменно гасла при каждом новом порыве ветра. А теперь живёт, не смотря ни на что. Хотя ветер сейчас вроде бы сильнее, а она горит себе, сопротивляется и не думает сдаваться.

Так огонёк догорел до конца, пока свечечка не растаяла от его жаркой силы. И ни разу не погасла.

Мы засобирились домой.

– Это Максим, наверное, тебя ждал и нас держал, – сказала она мне. – Не хотел, чтобы мы уехали раньше, не дождавшись. Хотел видеть нас всех вместе.

Через три дня, двадцать седьмого января ему исполнилось бы двадцать шесть лет.

24 января 2012 г.

Верность

Это лето оказалось на редкость жарким и засушливым. Настолько, насколько минувшая зима была снежной и морозной. Оставленный хозяином, внезапно бежавшим за границу ещё осенью, брошенный медленно умирать в одиночестве среди людей этого большого, но оказавшегося вдруг чужим города, он сумел пережить зимнюю стужу, невозможный, смертельно ранящий его привыкшее к комфорту тело холод. Сможет ли вынести теперь изнуряющий голод, лишаящий жизненных сил под палящим солнцем пустого, безродного лета? Он не знал этого, а только ежедневно возвращаясь на угол Вознесенского проспекта и одноимённого ему переулка¹, он надеялся... сам не ведал на что – наверное, на необъяснимое, нелогичное, неоправданное никакими законами бытия собачье чудо. Он ждал не разумом, не чутким породистым чутьём, не инстинктом даже, а слабой подсознательной надеждой, неизменно толкающей его на это место не во имя, но вопреки. Вопреки всякой земной логике ему грезилось, что вот сейчас из парадного выйдет седая голова дворецкого и окликнет его (о Боже!) по имени, по тому странному сочетанию звуков, от которого всё тело наливается неистовой энергией и щенячьей любовью к произносившему эти уже забытые, но каким-то чудом сохранившиеся в подсознании звуки. Он конечно тут же вспомнит и откликнется на них всем своим пёсым существом, а вспомнив, ломанётся неистово на голос и вновь окунётся с головой в домашний уют, в непреходящую, казалось, любовь, а главное, в так необходимую ему возможность излить на родное человеческое существо всю свою природную собачью преданности и верность. Но ничто не открылось, не выглянуло, не позвало, не окунуло. И самое трагичное, что такое положение вещей в окружающем его мире стало уже нормальным, привычным, естественным. Вот что поистине страшно.

За давно не мытым стеклом оконного проёма в доме напротив стоял человек и наблюдал за поведением пса. Безошибочным глазом знатока он видел породистость собаки, а по свалившейся в клочья шерсти, по неуверенным усталым движениям, по опущенной, склонённой к земле морде, а особенно по печальным, мокрым от слёз глазам животного угадывал всю некачественность его теперешнего положения. Человек сочувственно взирал на зверя и в эту минуту ощущал трагическое единство с ним, как собственно и со всем сущим в этой стране в это смутное время. «Были когда-то и мы рысаками», – прозвучало в сознании человека, а уста независимо от воли произнесли еле слышно:

Пара гнедых, запряженных с зарею,
Тощих, голодных и грустных на вид,
Вечно бредете вы мелкой рысцою,
Вечно куда-то ваш кучер спешит.
Были когда-то и вы рысаками,
И седоков вы имели иных.
Ваша хозяйка состарилась с вами,
Пара гнедых, пара гнедых...²

¹ Угол бывших Вознесенского проспекта и Вознесенского переулка в Екатеринбурге (ныне ул. Карла Либкнехта и ул. Клары Цеткин). В подвале дома №49/9 в ночь с 6 на 17 июля 1918 года был расстрелян вместе с семьёй Николай Александрович Романов – последний Российский Император.

² Из стихотворения «Пара гнедых» (опубл. 1895) Алексея Николаевича Апухтина (1840—1893). Это стихотворение А. Н. Апухтина представляет собою переложение французского текста, который был написан переводчиком, поэтом и композитором-любителем С. И. Донауровым (1839—1897) к музыке собственного сочинения. Романс вскоре стал звучать на русском языке – со словами А. Н. Апухтина. Некоторое время в нотных сборниках помещались оба текста одновременно – на выбор. Иносказательно: воспоминание-сожаление об ушедшей молодости, о былом могуществе, счастье, возможностях

Вдруг пёс, будто услышав сквозь стекло голос, а может, просто уловив безошибочным собачьим чутьём соучастие с человеком, вскочил на все четыре лапы, обратил горящую взором морду к окну и завилял нетерпеливо мохнатым хвостом. Точно как в те счастливые времена, когда скучая в жарко натопленной зале, мог почувствовать приближение хозяина за секунду до его появления. Человек улыбнулся в ответ, словно старому преданному товарищу, дивясь искренне непостижимой загадке бытия, в котором всегда, даже в самую лихую годину есть место Любви и единства друг с другом всякой твари Божьей. И как же жаль, что человечество, усвоив осознание себя высшей тварью, забыло вдруг, отвернулось от этого единства не только с иными созданиями Божиими, но и с самим таким же человеком.

– Ваше Величество, Государь, простите что без стука, но в сложившихся условиях я счёл необходимым сохранить свой визит к Вам в тайне. Стук может привлечь нежелательное внимание.

Человек оторвал взгляд от окна и обернулся на голос. Возле дверей комнаты стоял другой, судя по отменной выправке военный, но в штатском платье, лысоватый гражданин лет пятидесяти с аккуратной бородкой и в пенсне на интеллигентном лице.

– Что такое? Что-то с Алёшей? – забеспокоился человек у окна. – Вы осматривали его сегодня? Как он?

– Не беспокойтесь, Ваше Величество, с Алексеем Николаевичем всё в порядке, – поспешил успокоить его вошедший. – Я только что осматривал Его Высочество. Не скажу, что он абсолютно здоров, но жизни Великого Князя объективно ничего не угрожает. По крайней мере, с этой стороны.

Государь, несколько успокоенный, снова обратил взор к окну.

– Да. Времена нынче страшные, – произнёс он как бы в раздумье. – Старость и болезни, как причина смерти, отходят на задний план, уступая место вырвавшимся из преисподней, словно дым и пепел из жерла вулкана, ненависти и злобе. Умереть от шальной пули, стоя в очереди в лавку за керосином, стало явлением обыденным. И это в самой глубинке Великой России, куда никакая война не докатывалась со времён Ермака и Казанского ханства.

Оба какое-то время молчали. Царь, всецело погружённый в свои думы, нашедшие отражение где-то за оконным стеклом; его подданный, не решаясь прервать размышления Государя. Надеясь, впрочем, что Николай сам вернётся к незаконченному разговору. Он не ошибся.

– Евгений Сергеевич³, дорогой, – Император, как бы очнувшись от своих мыслей, отошёл от окна к столу, служившему одновременно и обеденным, и письменным. Его что-то тревожило, волновало не на шутку, но он никак не мог облечь свои мысли в слова, придать им нужное значение, уместное в столь неуместном сочетании своего природного статуса и действительной обстановки вокруг. Не находя таких слов, он уже пожалел было что вообще начал этот разговор. Но раз уж начал...

Пауза затянулась, а нужные слова так и не находились. В таком каверзном положении Николай не просто нервничал, но и позволил себе показать свою нервозность, чего с ним никогда не случалось раньше. Или почти никогда. Машинально он взял в руки лежащий на столе дневник, раскрыл его наугад непослушными пальцами и уткнулся взглядом в одну единственную фразу, оставленную им около полутора лет тому назад: «Кругом измена, трусость

и пр.

³ Евгений Сергеевич Боткин (27 мая (8 июня) 1865, Царское Село – 17 июля 1918, Екатеринбург) – русский врач, лейб-медик семьи Николая II, дворянин. Расстрелян большевиками вместе с царской семьёй. Был четвёртым ребёнком в семье известного русского врача Сергея Боткина (лейб-медика Александра II и Александра III) и Анастасии Александровны Крыловой. В 1878 г. на основе полученного дома воспитания был принят сразу в 5-й класс 2-й Петербургской классической гимназии. После окончания гимназии в 1882 г. поступил на физико-математический факультет Петербургского университета, однако, сдав экзамены за первый курс университета, ушёл на младшее отделение открывшегося приготовительного курса Военно-медицинской академии. В 1889 году окончил академию третьим в выпуске, удостоившись звания лекаря с отличием.

и обман». Разрозненные обрывки мысли, хаотично разбросанные в сознании, вдруг самопроизвольно сплелись и выстроились в простую, понятную цепочку. Речь полилась, будто и не было неказистости, невысказанности, обречённости на молчание при невыносимой потребности кричать.

– Евгений Сергеевич, Вы всё величаете меня царским титулом, а ведь я уж почти полтора года как не царствую в своей стране. Разве Вы не видите, что происходит вокруг? Разве не замечаете, как даже простой солдат, как самая обыкновенная кухарка из моего народа, для которого ещё недавно я был Отцом, первым после Бога в России, даже они смотрят на меня как на государственного преступника, как на каторжника. Я уж не говорю про знать, про дворянство, армию, присягавшую мне, – Николай снова задумался, опустив взор к столу, где лежал дневник, – Кругом измена, трусость и обман, – проговорил он в задумчивости.

– Государь...

– Подождите, Евгений Сергеевич, подождите, – не дал царь собеседнику ответить себе. – Поймите, мне правда нужна, я правду знать хочу, слишком долго я принимал за истину лицедейство, за любовь лесть и лицемерие, за преданность продажную угодливость. Теперь ведь не в чести прежние устои, на которых держалась тысячелетняя Русь, теперь за правду не накажет Николашка Кровавый, теперь можно, напротив, даже почётно. Слышал я, новая власть уже предлагала Вам свободу и даже должность в Москве в обмен на... Так что же Вас держит? Что заставляет ежедневно повторять бывшему монарху Ваше Величество?

Царь замолчал. Молчал и Боткин.

– Ну, что же Вы не отвечаете? Не знаете, что сказать?

– Не смею спорить с Вашим Величеством. Если угодно Вам, Государь, видеть во всех, в том числе и во мне предателей, то не словами о преданности мыслю я опровергнуть Вас, а самой преданностью. Кроме того, по моему твёрдому убеждению бывших Государей не бывало ещё на Руси, да не будет. Присягнув одному монарху, я останусь верен присяге до самой смерти его. А коли надлежит разделить участь с Государем моим, приму за честь. К тому же далеко не все предали Вас, Ваше Величество, не один я такой уникальный герой. Да и не герой вовсе, какое уж тут геройство. Хочу напомнить Вам ответ Архиепископа Харьковского Антония на известие о Вашем мнимом отречении от престола: «От верности Царю меня может освободить только его неверность Христу». И таковых верных в России много.

Было много.... Когда-то.... Есть ли сейчас?

Нет больше ни Вознесенского проспекта, ни одноимённого ему переулка, как нет и самого Ипатьевского дома. Всё кануло в историю – переписанную, перечёрканную, обновлённую, удобную. Остался лишь перекрёсток, как крест на этом месте – для кого-то отменяющий всё и вся, для кого-то мученический, для кого-то поминальный. Должно быть, есть и пёс, который влачит по инерции жалкую собачью жизнь да, подобно своему забытому сородичу из славного революционно прошлого нет-нет да глянет мокрыми глазами на окна домов, за которыми всё ещё живут, стараются, решают свои никогда не преходящие надобы люди.

Ловись, рыбка, большая и маленькая

Вслед за разумом и душою, так щедро подаренными нам Господом, без сомнения можно поставить в один ряд дар слова, язык, украшающий человека, как брачный наряд пылкую неискушённую невесту. Выделяющий его из ряда прочих тварей земных тем уж, что не позволяет сокрыть от постороннего наблюдателя всю полноту неиссякаемой людской глупости.

– Феликс Эдмундович, батенька, как по-вашему, каясь тепей на муху клюёт, или на чей-вячка?

Немолодой, невысокий, можно даже сказать маленький, изрядно плешивенький человек в реденьких усиках и бородке клинышком, в поношенном, но строгом чёрном костюме и белой накрахмаленной сорочке с синим галстуком в белый горошек восседал на огромном кожаном кресле кремлёвского кабинета, склонившись над обширной – во весь стол – картой Российской Империи, сплошь изрисованной красными и синими стрелками, внимательно изучая её.

– Я тут пьиглядел одно чудненькое озейцо. И подумал, а не махнуть ли нам с вами на ибалку? Как вы полагаете, батенька?

Высокий, статный, красивый, ухоженный, в новом генеральском френче без погон, в новых же начищенных до блеска сапогах, с великолепной благородной выправкой человек с аккуратно постриженной и щегольски уложенной на пробор головой, но с бородкой таки клинышком стоял рядом и искал, что ответить.

– Владимир Ильич, вы же знаете, я не рыбак.

– Зья, батенька, зья. Чейтовски увлекательное мейопьяятие. А как вы полагаете, Феликс Эдмундович, уклею лучше бъять на спиннинг или на бъядень?

– Увольте, Владимир Ильич, я предпочитаю ловить рыбу покрупней, посерьёзней. Тут вот опять эсеры голову поднимают, так я думаю...

– Да-а? А может, динамитчиком шаяхнем?

– Динамитом? Не думаю. Динамитом пол-Москвы разнести можно. Тут нужна игра аккуратная, осторожная – потихонечку сети умело расставить и...

– Сети говоите, батенька? Въядли, Феликс Эдмундович, въядли. Уклею сетями не взять, уклею иба хитъяя, скользкая. Это вам, батенька мой, не шука.

– Ну что вы, Владимир Ильич, тут, знаете ли, дело техники. Если умело сети расставить, то не только шуку, но и акулу взять можно.

– Не думаю, не думаю, Феликс Эдмундович, для акулы озейцо маловато, не тот язмах. Вот если бы тъяуллея где-нибудь экспъяпъяиёвать да махнуть на Балтику, или, скажем, в Къим...

– Ну, Владимир Ильич, с таким размахом не только акул, кита – самого барона нашего с вами Врангеля поймать можно. Затем собрать всех вместе, поставить к стенке да из максима...

– Вы полагаете, батенька? А чего ж, можно и Гойкого с собой взять. Он, пъявда, пъяиведлив слишком, всё, знаете ли, по осетъянке тоскует. Волгай, одно слово.

Тут диалог двух государственных деятелей прервал осторожный стук в дверь.

– Да-да, – проговорил маленький и поднял глаза от карты.

Дверь раскрылась, и в кабинет вошёл кучерявый еврейчик в маленьких кругленьких очёчках и с внушительных размеров маузером на поясе.

– А-а! Яша! Заходи, даягой, заходи. Как дела твои? Мацу пъяислали? Вы знаете, Феликс Эдмундович, бычок так шикайно на мацу клюёт, ничего подлец знать не хочет, ни ветчины,

ни сала. А на мацу, за милую душу, как к себе домой. Послушай, Яша, а бычок – не ваша национальная иба?

– Не знаю, Владимир Ильич. Вряд ли. Я не специалист.

– Да? А кто у нас специалист по национальным вопъёсам? Сталин? Этот Дейжимойда? Ну хоёшо. Спъявлюсь у Сталина. Ты чего, Яша, что хотел-то?

– Владимир Ильич, тут к Вам мужики пришли, просят принять.

– Мужики? Какие ещё мужики? Ибаки?

– Не знаю, Владимир Ильич, может и рыбаки. Ходоки, одним словом.

– Ходоки? А-а! Ну, тогда давай, пъяси. Да, Яша, там, у Луначайсого где-то художник один был, всё пъясился исовать меня. Знаешь, да? Так вот его тоже пъяси, я с ибаками буду язговаивать, а он пускай исует себе. Ну, вот и славненько, два дела съязу ешил. Ты иди, Яша, иди.

– Вы пъядставляете себе, Феликс Эдмундович, – в крайнем изумлении проговорил маленький, когда за кучерявым еврейчиком закрылась дверь, – а ведь по паспойту Свейдлов.

– Да-а! – согласился большой. – Удивительные вещи происходят в нашем отечестве.

Через минуту дверь снова открылась, и кучерявый с маузером ввёл в кабинет группу крестьян – человек пять, не больше, в зипунах, в лаптях да с котомками через плечо. Они неловко мялись, улыбались невпопад сквозь бороды и постоянно виновато кланялись, неистово теребя шапки в руках.

– А-а-а! Товаищи даягие, пъяходите, пъяходите! – маленький вскочил из-за стола с картой и, приветливо раскинув руки в стороны, посеменял навстречу мужикам. Но целоваться не стал, время ещё не пришло. – Пъяшу вас, пъяшу к нашему, так сказать, шалашу! Да, кстати, Феликс Эдмундович, – он вдруг отвлёкся, вспомнив нечто важное, и вернулся к большому. – Вы знаете, батенька, у меня в Язливе такой чудненький шалашик имеется, и ечушка такая, знаете ли, ядышком. Я всё думаю, а не махнуть ли нам с вами на ибалку, пъямо сейчас а? Такие там, знаете ли, каясики да уклеички иногда беют, пъямо загляденье. А? Ну что? Махнём?

– Владимир Ильич, – остановил большой маленького, указывая одними глазами на оторопевших от неожиданного поворота дела мужиков.

– Что? Ах да, – маленький снова направился к ходокам. – Здъявствуйте, здъявствуйте, даягие мои! Пъяшу, пъяшу к нашему.... Мда. Пъяшу садиться. Сюда, пожалуйста. Ничего, ничего, у нас запъясто. Яша, – обратился он к кучерявому, – соойганизуй нам, пожалуйста, чаю, – и снова к мужикам, – вы ведь ещё не обедали?

– Ще не, где уж, – отвечали виновато мужики, польщённые государевым вниманием. – Да ничё, ничё. Намедни кипяточку похлебали с сахарком, да и будя с нас.

– Да? Значит, чаю тоже не хотите? Ну и ладно. Яша, даягой, не надо чаю. Пъяшу, пъяс-живайтесь, поудобнее, вот так. Эй, товаиц, – обратился он к художнику, расставившему уже мольберт с холстом и чинившему карандаш. – Как вам якуйс, свет, меня хоёшо видно?

– Владимир... Ильич..., – заметался растерявшийся художник, – благодарю Вас... хорошо... всё хорошо... свет тоже... только... простите великодушно, нельзя ли... ах... как же это... если Вас не затруднит... ах... нельзя ли Вам в центр композиции?

– Ни в коем случае! – заартачился маленький вождь. – Я в пъяфиль лучше смогъюсь. Мне Надежда Константиновна говоила.

Маленький достал из внутреннего кармана пиджака расчёску, тщательно причесал лысину, подул на расчёску и отправил её снова в карман.

– Так, ну что у вас? С чем пъяшли? Ясказывайте, ясказывайте.

– Да мы это... на щёт... – начал было самый старший.

– Что? Говоите, сахайку у вас много? Сахай пъянесли?

– Дык, не то штобы много, но осталось ишо маненько.

– Давайте, давайте, вон Феликсу Эдмундовичу весь сахай сдавайте. Сахаёк детям, знаете ли. Да. Что ещё?

– Дык мы и гутарим...

– Что? А Антанта вас сильно беспокоит?

– Чё? Хто така?

– Енто они, наверное, об Аньке Тарахтелке сумливаются, – подсказал старшему другой, тоже осанистый мужик.

– А-а, ежели Вы, Владимиру Ильичу, об Аньке Тарахтелке сумливаетесь, то не извольте беспокоиться. Она таперя жэнщина смирная, остепенилась уж, помногу не гонить. Так для себя, да для мужика сваво, для Миколки. Вёдер шесть, аль сем, не боле. Да. И мужуки к ней в хату больш табунами не шастають. Так, один-два для хвасону токмо, и то, када Миколка, мужик еёный дрыхнет, самогонки натрескамшись. Так што с ентого краю у нас усё гладко. Вот.

– Ну да, ну да. Славненько, славненько. Ну а если к вам пьидёт Кеинский с аужиём, что тогда?

– Чё?

– Не иначе как о Генкиной супружнице говорят, – снова подсказал другой.

– А-а! Ну, тут воля Ваша, Владимиру Ильичу, тут недогляд наш, промашка, понимаешь, вышла. Ну, уж коли так, то Генка и сам виноватый. Ну сколько ж можно бабу терзать?! Она ведь женщина ещё молода, ядрёна, тильки годок, как обжанились, а он как нарежется у Аньки-то Тарахтелки, домой воротится впополаме и давай Натаху, супружницу, значит, свою по хате да по двору с топором гонять. Ну хто ж енто выдержит? Вот она его веслом-то по хребтине и убаюкала, утихомирила. А он ничё, не жалится, Вы не подумайте чаво. Он, Генка-то, её таперя сам боится, Натаху-то. Вот.

– Ну да, ну да. Славненько, славненько. Ну а как у вас с контъеволуцией? Давите гниду-то?

– Чё?

– Да про гнид, про гнид спрашивают.

– А-а! Дык мы ж их керосином, керосином. А как же ж? Отцы наши и деды тако ж с ентою гадиной боролись. Вот и мы тож.

– Пъелестно, пъелестно! Ну, что у вас ещё? Какие пъосьбы, вопъосы?

– Дык мы, товарищу дорогой, на щёт землицы-то.

– А что, у вас земли много лишней?

– Да земляца-то есть, а чё с ней делать-то не знам. Мы помещиков-то да богатеёв повыгоняли, а чё таперя делать-то не знам. То ли земельку-то разделить на всех поровну, то ли обчую камуну учинить? Егорка-то наш – грамотей городской всё талдычит про камуну каку-то, а мы сумливаемся. А земляка-то стоит, её ж родимую пахать уж пора. Вот мы до Вас, значить, и пришли. Растолкуйте Вы нам убогим, как уж нам быть-то.

– Ага! Пъелестно, пъелестно! Пахать, батеньки мои, пахать и ещё яз пахать, как завещал великий... Мда. Ну это я не пъя то завещал. Вы мне вот что скажите, а как у вас ибалка?

– Дык чё ж, дело известное, река рядом. Рыбы в ей полно всяко-разной – и шилишпёр, и щука, и плотва, и уклеика...

– Что и уклеичка есть? Пъелестно, пъелестно! А как вы полагаете, уклею лучше на спиннинг бьять?

– Чё?

– Да не иначе как про Генкину спину беспокоются.

– А-а! Не извольте беспокоиться, Владимиру Ильичу. Оклемаля сердешный. Да что с ним станется-то с горемычным, проспался и не помнит ничё.

– А Натаха-то не б... дь. Это вы зря, товарищу Ленин, – вмешался в разговор другой мужик, что всё время подсказывал старшему. – Она хоча и ядрёна баба и оченью дажа годная к ентому делу, но мужнину честь блюдёт. Енто вам кажный скажет. А что до Яшки-подлеца,

так вы не сумливайтесь, бабьи сплетни всё то и больш ни чё. Он не токмо к ёй, он ко всем бабам шаستاить спьяну-то. Да всё без толку, у яго уж и не стоить-то хозяйство, всё мужско достоинство-то пропил давно.

– Да-а? Чудненько, чудненько! А я гъешным делом думал, что на спиннинг лучше. Ну ладно, батеньки мои, не буду вас задеживать. Ступайте себе, сдавайте сахаёк Феликсу Эдмундовичу и пахать, пахать и ещё яз пахать! – маленький встал, давая понять, что аудиенция окончена, и направился к карте, но резко вдруг остановился. – Да, а Антанту с Кеенским гоните, бейте её не щадя вашей ябоче-къестьянской къёви! Тейёй, тейёй и ещё яз тейёй!

– Чё? – снова не понял старший мужик.

– Да пошли уж сахарок сдавать, – опять подсказал ему другой.

Все вышли в сопровождении большого. Маленький остался один и вновь погрузился в изучение карты Российской Империи, сплошь изрисованной красными и синими стрелками.

Через несколько минут большой вернулся.

– Владимир Ильич, сахар принял, что с мужиками делать?

Маленький оторвался от карты.

– С мужиками? С какими мужиками?

– Ну, с ходоками, которых Вы только что принимали?

Маленький подумал-подумал, воскрешая в памяти недавнее, и вдруг просиял.

– А-а, с этими? С ибаками? Ясстелять, конечно.

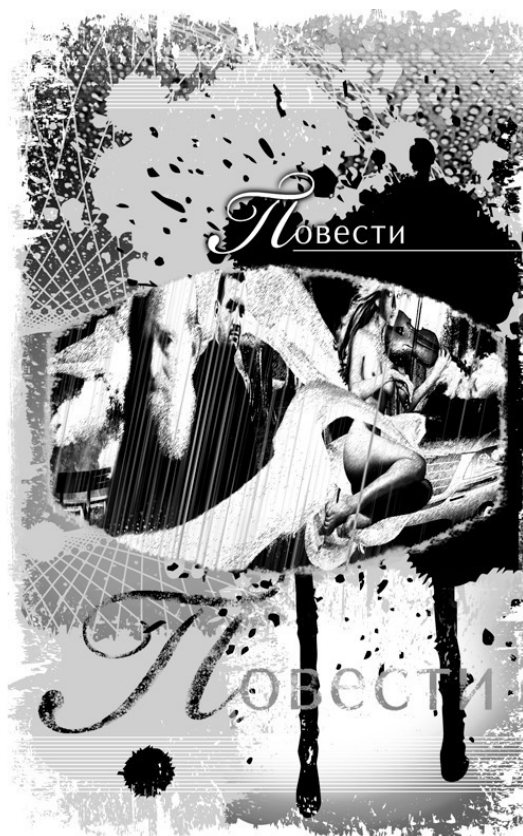
– Как расстрелять? За что? – даже большой удивился столь неожиданному решению.

– Я же говоил: «Тейёй, тейёй и ещё яз тейёй!» Беспощадный тейёй! Всякая эволюция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться! Чёйт возьми, забавная мыслишка, надобно записать, – и снова склонился над картой.

Большой собрался было, но замешкался.

– Феликс Эдмундович, батенька, как по-вашему, каясь тепей на муху клюёт, или на чей-вячка?

Большой не ответил, он отправился приводить в исполнение приговор.



Нецелованный странник

*Моей жене, самому чудному, доброму, милому,
любимому и любящему Человеку посвящается.*

*«Прожить
врага не потревожив
Прожить
любимых погубив»
Руслан Элинин. Русский поэт.*

I

Снова я еду по этому шоссе. Зачем я это делаю, что влечёт меня сюда, что толкает в этот бесконечный путь? Я задавал себе этот вопрос десятки, нет, скорее сотни, а может быть, тысячи раз и никогда не мог найти ответа. Я просто его не знаю. Наверняка, его нет вообще, как нет ответов на великое множество вопросов тревожащих нас, не дающих нам покоя, заставляющих совершать те или иные поступки, часто глупые и бессмысленные, но необходимые для нас, как воздух, из которых, собственно, и состоит то великое чудо, которое мы называем жизнью. Во всяком случае, это шоссе давно уже стало моей жизнью, не частью её, пусть даже основной, неотъемлемой, а самой жизнью, её единственной целью, её смыслом.

Вот уже двадцать лет, с тех пор, как умерла моя жена....

Последняя....

Пятая....

Вот уже двадцать лет я регулярно сажусь в свой теперь уже старенький, но всё ещё надёжный и безотказный «Шевроле» и еду в самую дальнюю окраину Вологодской губернии, туда, где уже много веков стоит тихий и уютный старинный русский город Великий Устюг, сияющий золотом куполов своих многочисленных храмов, поражающий суетных москвичей патриархальной тишиной и размеренностью жизни неторопливых устюжан. Я люблю этот город и, наверное, хотел бы здесь жить. Но всякий раз, вот уже двадцать лет, въезжая под гостеприимный кров придуманной родины языческого Деда Мороза, и места непридуманного славного поприща православного святого Прокопия Праведного, я, помолившись в храме, освящённом когда-то во имя вышеназванного святого подвижника, и посмотрев с крутого берега на степенно текущие, как и всё в этом городе, воды Сухоны, снова завожу свой «Шевроле» и, не отдохнув ни минуты, качу назад. Не то что бы, я спешу в Москву. Нет, я не люблю этот великодержавный город, шумный, суетный, в котором государственных чиновников на порядок больше, чем во всём остальном мире, судя по обилию машин с мигалками на автомагистралях, не соблюдающих никаких правил дорожного движения, и откровенно плюющих на всех остальных граждан, как на колёсах, терпеливо томящихся в бесконечных пробках, так и на своих двоих, ценой жизни пытающихся отвоевать хоть немного жизненного пространства на улицах мегаполиса. Я спешу в обратный путь, чтобы ещё раз проехать по этому шоссе в поисках..., сам не знаю чего. Может быть призрака, привидевшегося мне двадцать пять лет тому назад, и с тех пор не дающего мне покоя, заставляя каждый год, а то и несколько раз в год жечь бензин и проматывать драгоценное время увядающей уже жизни, в направлении Великого Устюга и обратно, без какой-либо надежды на успех. Я не могу иначе, этим я живу, этим дышу, об этом думаю непрестанно, наматывая километры дороги на послушные рулю

колеса «Шевроле», так же как и в ожидании нового путешествия в пыльной, загазованной, ненавистой Москве.

Все эти последние двадцать пять лет я помню – как будто это было вчера – то первое путешествие в Устюг. И даже не само путешествие – оно было самым обычным – а то, что произошло во время него, тот эпизод моей суматошной жизни, который всё перевернул и поставил с ног на голову, с которого всё началось и продолжается по сей день, не переставая, не стираясь временем, не ослабляя натиск, но, наоборот, усиливаясь, с годами превратившись в навязчивую идею, в сумасшествие, в непреодолимую силу, влекущую меня в путь, как наркомана на иглу. Первые пять лет я не придавал этому особого значения, относился просто как к эпизоду, пусть приятному, страстному, влекущему, но всего лишь эпизоду моей безответственной, лёгкой жизни.

Вскоре после того путешествия я женился, как мне казалось, по любви. Но на самом деле, любила она, а я просто хотел испытать то, что испытал тогда, в то первое путешествие, испытал впервые в своей жизни и, как оказалось, в последний раз. Всё остальное было только образом, копией, неумело списанной с великого подлинника. Я надеялся, что это временно, я свято верил в грядущее семейное счастье, ведь моя молодая жена была безумно красива и любила меня, как сумасшедшая. Но ровно через год после посещения Устюга, день в день после тех событий, я стал вдовцом.

Она умерла внезапно, не болела, не была жертвой несчастного случая или преступления, просто угасла за считанные дни и всё. Наверное, я эгоист, но через два месяца я снова женился и... снова овдовел. Так в течение пяти лет я пять раз ходил под венец, и пять раз на кладбище, и все пять жён умирали внезапно, без видимых причин, и в один и тот же день. Не веря больше в случайность такого совпадения, я не стал рисковать в шестой раз. Тем более что «эпизод» давно уже перестал быть для меня просто эпизодом, а, усиливаясь с годами в своём значении, становился навязчивой идеей, силой, занимающей в моем сознании всё больше и больше места, постепенно вытесняя всё остальное, так что уже ни работа, ни шумные компании весёлых друзей, ни страстные оргии с обильными возлияниями не могли отвлечь меня от воспоминания недавнего прошлого, всё более и более влекущего назад на пять лет. Тогда я во второй раз поехал в Великий Устюг, надеясь реанимировать те события и вернуть себе утраченный душевный покой. Но, проехав весь маршрут в обоих направлениях, я ничего не нашел. Ничего, никаких следов, даже намёков на существование предмета моих поисков. Расспрашивая местных жителей, я получал в ответ только удивление и недоумение. Я наводил справки в местных органах власти, но всё безрезультатно, никто ничего не знал, не слышал, не видел, как будто пять лет назад я повстречался с призраком. Вернувшись в Москву, я с чувством выполненного долга погрузился в текущие дела, но через год снова отправился в путешествие, потом снова и снова, и так уже двадцать лет абсолютно без каких-либо результатов.

Сегодня я уже не тот, что четверть века назад, мне уже пятьдесят, я снова в пути, и снова, пока, без успеха. Сегодня ровно двадцать пять лет, день в день, с того первого путешествия, и может быть на этот раз...

Машина мягко бежит по недавно отремонтированной дороге, вдоль которой тянется до боли знакомый пейзаж. Плотная стена сосен и елей с редкими вкраплениями лиственных. Вот речушка с почти пересохшим руслом и смешным названием. Снова сосны. Временами, будто выросшие прямо из-под земли призраки, заброшенные, почерневшие от времени и покосившиеся от недостатка человеческого внимания и участия избы. И снова стена тёмного зловещего леса, в котором, уж наверняка, обитают лешие и прочая лесная нечисть. Там впереди, за изгибом дороги сейчас должна появиться небольшая лужайка с красивой стройной, как девица, березкой. Хорошее место, радующее глаз, здесь таких мало, всегда люблюсь им, когда проезжаю. Да вот оно показалось, вот и березка-красавица. А это кто? Какой-то старик. Сидит себе на скамейке, вкопанной прямо на обочине, водочку попивает. Никогда не видел его здесь

раньше. В этих местах вообще никогда никого не встретишь, проезжая мимо машина – и то редкость. И скамейки здесь никогда раньше не было, я хорошо помню это место, не раз останавливался тут отдохнуть, перекусить под берёзкой. Откуда он взялся этот старик?

Да Бог с ним. Какое мне дело до него? В моих поисках он вряд ли может чем помочь. Сидит себе и сидит, может грибник, присел отдохнуть на скамейке. А скамейка откуда? Прошлой весной её тут не было. Хотя, долго ли вкопать скамейку, плёвое дело, полчаса и готово. Странное дело, этот старик мне показался, почему-то, знакомым, будто где-то я его уже видел, давно-давно, но не припомню где. Впрочем, местные старики все похожи друг на друга, как братья. Да вон ещё один такой же. Действительно, как братья. И скамейка у обочины прямо как из одного гарнитура «Лесная утварь». Чудеса. Только подумал о похожести местных аборигенов, как тут же в этом убедился. Может вернуться, расспросить его, вдруг чего-то узнаю. Старики, они ведь такие, всё помнят, что было, и чего не было. Память у них на счёт прошлого, как компьютер, до мельчайших подробностей. А вот что пять минут назад было, тут, увы, отнюдь. Ладно, проехали, возвращаться плохая примета. Если ещё кого встречу, тогда... Да что же это, опять брат-близнец, и снова на скамейке, водочку попивает. Это уж неспроста, торможу.

* * *

– Здравствуйте! Простите Бога ради, но Вы не знаете?..

– Здравствуй, здравствуй, сынок. Конечно, знаю... Я старик, а старики многое знают и многое помнят. Проходи, присаживайся, выпьем по шкалику, покалякаем за жизнь, может, подскажу что, а может и научу чему.

– Да нет, спасибо, я тороплюсь. Здесь, в этих местах было раньше...

– Почему это раньше? В этих местах много чего было, многое ушло, но многое осталось, только спряталось от постороннего глаза. Да ты садись, в ногах правды нет. Ты надолго ко мне. Торопиться тебе, я чай, некуда, да и незачем.

– Откуда Вы знаете куда мне и зачем?

– Я многое знаю, многое помню. И ты узнаешь, если торопиться не будешь. Я давно тебя здесь поджидаю, измаялся уж.

– Кого поджидаете? Меня?!

– А кого ж ещё? Нет же ж никого боле. Я один, как пень старый. Давно уж один, двадцать пять годков кукую здесь, и никого не встречал за четверть века. Не с кем словом перемолвиться, опрокинуть по шкалику. А тут ты, едешь, круги наворачиваешь, уж разов три мимо проскочил, знамо ищешь чего. Иль кого? Не меня ли?

– Да я уж теперь и не знаю, может и Вас. Кого-то Вы мне напоминаете, отец, а кого, не могу понять.

– Как ты сказал? Отец? А что ж, а ну и правда, отец, по всему так и выходит. Только... Ну да ладно, разберёмся. Садись поудобней, сынок, я подвинусь, держи шкалик, выпьем за упокой души рабы Божьей...

– Да нельзя мне, я за рулем.

– Дался тебе твой руль. Брось его. Пей, не сумлевайся, в ней сила сокрытая. Не бойсь, здесь мытарей-то нету. Здесь вообще никого больше нету. Я один только, да теперь вот ты, двое нас. Хотя и это ненадолго, уйду я скоро, раз ты уж приехал. Здесь двоим-то долго нельзя, так-то вот.

– Да я на минутку, только разузнать. Подскажите мне, здесь где-то был когда-то дом...

– Подскажу, и не токмо подскажу, но и покажу, и провожу, и за стол усажу, и спать уложу. Ты только не торопись, некуда уж, нашел, что искал.

– А откуда Вам знать, что я ищу?

– А кому ж знать, как не мне? Должен знать. Нету ж никого здесь боле, токмо я один и есть. Да ты вот теперя. Вместе мы, оба два. Ты, сынок, не спеши только, дай срок, всё узнаешь, что я знаю. А я многое знаю. Давай-ка лучше, опрокинем ещё по единой, помянем рабу Божию.

– А кого мы поминаем, отец, схоронил, что ли кого?

– Да не я, давно-о-о схоронена. Я вот поминаю токмо, теперя и ты будешь. Без этого нельзя, без этого ей сильно тяжко, а так полегшее малость.

– Жена что ли?

– Жена, не жена, да токмо нету у меня ближе и роднее неё никого в целом свете, так что уж полвека жду её и поминаю. По всему видать, не долго уж осталось, вскорости свидимся. Давай, сынок, ещё по единой.

– Понимаю тебя, отец. Ты вот полвека, да и я тоже, только четверть века ищу женщину одну, без которой и радость не в радость, и жизнь не в жизнь. И знал-то её всего ничего – одну только ночь. А прикипела так, что не оторвать. Вот уж двадцать пять лет ищу её, и не могу найти. Может, ты поможешь мне, чувствую, знаешь ты что-то.

– Может и знаю. Может и помогу. Только гляди, жизнь поломаю, назад не воротисси.

– Да куда уж ломать-то, вся переломана-перекручена, хоть в петлю лезь. Вроде всё у меня есть, и дом, и работа, и друзей, и женщин, и денег хоть ложкой ешь. А мне не живётся. А я всё ищу кого-то, всё еду туда, не знаю куда и никак не могу найти. Помоги, а. Ты можешь, я знаю это, чувствую. Хорошо мне с тобой, тепло. Впервые встретил человека, которому могу излить душу. Как отцу. Я-то своего не знаю, детдомовский. Ни отца, ни матери. Был когда-то давным-давно дед, но не помню его совсем, малой ещё был. Вот послушай, никому не рассказывал, а тебе расскажу. Только не мешай, мне выговориться надо, не могу больше в себе держать, кипит всё.

– Что ж, рассказывай, коли надо. И я припомню.

II

Было это двадцать пять лет назад. Страшно подумать, четверть века прошло, а как будто вчера только. Время вообще непостоянно и условно. Миг растягивается в годы, а целая жизнь промелькнет в одно мгновение, вспыхнет спичкой и угаснет. Эти двадцать пять лет пролетели незаметно, как один росчерк пера, а в итоге целая повесть. Но в каждый год, в каждый месяц, день, мгновение ожидания я проживал целую жизнь.

Тот день я хорошо помню, мне не нужно напрягать мышцы памяти, чтобы отобразить, как в кино, каждую его подробность, каждый эпизод и даже эпизодик, так что рассказ мой будет достаточно полным, а если что и упущу, какую-нибудь деталь, то не по забывчивости, а по малой её значимости.

В тот день я ждал его. Я буду так называть своего героя, хотя справедливости ради, нужно было бы обозначить его другим местоимением, более подходящим и верным. Но мне так проще, и тебе понятнее. Он должен был приехать именно сегодня, я знал это так же верно, как знаю куда, когда и зачем должен приехать я сам. Он уже едет, подъезжает, он не может проехать мимо, в такую погоду проехать мимо теплого, уютного, гостеприимного дома может только идиот. Он не был идиотом. Это я знал также точно, как то, что я сам не идиот.

Я сидел у камина в гостиной зале этого большого старого дома, ставшего для меня уже своим, несмотря на то, что сам я вошёл под его кров всего несколько часов назад, и эти несколько часов полностью преобразили как меня самого, так и все мои воззрения и планы на всю оставшуюся жизнь. Согретый мягким и ласковым теплом камина я слушал пронзительное завывание ветра в дымоходе и боевую дробь дождевых капель, барабанивших по кровле и оконным стеклам дома, когда в дверь внезапно постучали. Не мешкая, я открыл и впустил в прихожую совершенно мокрого и дрожащего от холода, как осиновый лист, молодого человека. Это был он.

Я узнал его сразу, я узнал бы его из тысячи в многолюдной толпе, несмотря на то, что прежде мы никогда не встречались, и не могли бы встретиться. Между нами существовала какая-то странная, необъяснимая связь, тонкая и чувствительная, как оголённый нерв, так что я буквально кожей ощутил ледяную влагу насквозь промокшей и прилипшей к его телу одежды. Не знаю, чувствовал ли он то же по отношению ко мне, если вообще мог что-нибудь чувствовать кроме мокрого холода. Он попытался произнести подходящие данной обстановке вежливости и учтивости, но язык плохо слушался его, а зубы, нервно стуча друг о друга, заглушали своей дробью шум дождя за окном. Не дав ему договорить, я провел его в гостиную, к камину, усадил поближе к огню, поставил на прикаминный столик непечатую бутылку шотландского виски и чашку горячего чая. Затем, предложив сухую чистую одежду, поднялся на второй этаж дома приготовить гостю ту самую, его комнату. Когда через несколько минут я снова вернулся в гостиную, захватив по дороге на кухне внушительных размеров кусок холодной телятины, ровными ломтиками нарезанный хлеб и небольшую корзинку с фруктами, от виски осталось только полбутылки, чай был выпит совсем, а мой гость, переодевшись в теплый махровый халат, блаженствовал в мягком, уютном кресле возле огня. Он полностью освоился в новой обстановке, нисколько не смущаясь, принялся уничтожать предложенную ему нехитрую снедь, а когда насытился, наполовину наполнил виски два бокала, и, протянув один мне, снова удобно устроился в кресле. «За Вас, мой спаситель! – произнес он тост и отпил небольшой глоток. – Если бы не Вы, не знаю, что бы со мной было. Простите меня, Бога ради, за вторжение, но Ваш дом – единственное обитаемое строение во всей округе. На улице просто буря, ничего не видно. Я, наверное, заблудился и хотел только расспросить у Вас дорогу, но машина застряла в грязи недалеко от дома. Попытался выбраться, да куда там. Пока дошел до Вас, весь промок до нитки, замерз, страшно вспомнить. Спасибо Вам за приют, если не воз-

ражаете, я переночую у Вас, а завтра поеду дальше. Я заплачу, сколько скажете, деньги у меня есть. Не стесняйтесь, назовите цену».

Вопрос об оплате мы урегулировали быстро. Я, естественно, сказал, что не возьму с него никаких денег, что он мой гость и может пользоваться моим гостеприимством столько, сколько пожелает, и вообще, может чувствовать себя здесь, как дома. Он отпил ещё глоток и, приблизившись ко мне, как будто собираясь сообщить какую-то тайну, сказал: «Вы знаете, не понимаю почему, но я действительно чувствую себя здесь, как дома, свободно как-то, без всякого стеснения. Мне даже неловко перед Вами за это, – затем, снова откинувшись на спинку кресла, продолжил. – Я всегда жил в казенных домах и никогда не имел своего. Был когда-то дом, в котором я родился и прожил первые годы жизни, но это было так давно, что я уже ничего не помню, или почти ничего». Он допил виски, поставил бокал на столик и, неожиданно вскочив с кресла, стал, не спеша, ходить по комнате, осматривая ее, как будто изучая: «А Ваш дом напоминает мне, почему-то, мой, ну тот из раннего детства. Не то чтобы я узнал здесь что-то, нет, я не помню почти ничего, так какие-то смутные обрывки, но мне кажется, что я уже здесь был. Даже не был, а как будто я вернулся домой. Простите меня, я понимаю, что несу чушь, просто мне у Вас как-то свободно и легко. Как дома».

Я слушал его молча, не перебивая. Меня несколько не удивили его слова, я знал, что он должен был почувствовать то, что чувствовал. Я был рад, что не ошибся.

Он ещё какое-то время походил по комнате, разглядывая всё её убранство, и трогая руками отдельные предметы интерьера. Я молча наблюдал за ним. Вообще, мы практически больше не разговаривали, если не считать несколько дежурно-вежливых фраз и вопросов. Нам не нужно было слов, они мешали, мы и без них отлично понимали друг друга. Во всяком случае, не знаю как он, а я прекрасно понимал всё, о чем он думает, и что чувствует.

Тем временем, приближался час «Х», наступал момент, когда должно было произойти то, ради чего я сюда приехал. Догадывался ли он о величине и значимости события, уготованного нам судьбой, предчувствовал ли неотвратимо надвигающееся неизбежное, преобразившее впоследствии всё его сознание и саму жизнь? Вряд ли, вероятнее всего, нет. Для него это была совершенно случайная, ничего не значащая остановка застигнутого непогодой в глуши путника. Завтра он собирается продолжить свой путь, как ни в чём не бывало, а ещё через пару часов вообще забыть об этой ночи. Для него это всего лишь кратковременное, малозначительное приключение. Для него, но не для меня.

Но не буду забегать вперёд, предоставлю событиям развиваться своим чередом, как им должно, как предначертано Всевидящим и Всезнающим Богом.

Вскоре, я предложил ему отдохнуть. Комната для него готова, тёплая и уютная, на большой, почти царской кровати постелено свежее чистое бельё, подушки мягкие, одеяло лёгкое, как пух, всё способствует приятному полноценному отдыху, восстанавливающему силы перед дальней дорогой. Он охотно согласился, позволил себя проводить на второй этаж до дверей спальни, где мы, пожелав друг другу спокойной ночи, расстались на некоторое время.

Я спустился в гостиную, и вновь усевшись в кресло рядом с камином, погрузился в свои размышления под протяжное завывание ветра в дымоходе и неутомимую дробь дождевых капель по кровле и оконным стёклам. Надо сказать, что такое звуковое сопровождение удивительным образом способствует подобному времяпровождению, так что, приходящие в голову интересные мысли, как бы сами собой выстраиваются в стройные цепочки и просятся на бумагу. И если бы не наша природная российская лень-матушка, то мы справедливо бы считались не только самой читающей, но и самой пишущей нацией, благо погодные особенности нашего климата позволяют сделать такое, признаться, достаточно смелое, но всё-таки, обоснованное предположение. Во всяком случае, время в данной обстановке летит стремительно, не замечая минут, проглатывая целые часы, безжалостно расправляясь с днями и даже неделями бесценной жизни. Сколько всего полезного, цельного, разумно-логичного может сделать

немец, какие капиталы сколотить американец, пока русский в глубине необъятных просторов своей великой родины, под убаюкивающее потрескивание огня в камине и размеренный шум дождя, обдумывает до тонкостей глобальные проблемы вселенского масштаба, ничего не предпринимая, не воплощая обдуманное, а просто узнавая ответы на многие неразрешимые вопросы, чтобы к концу пролетевшей безвременно жизни, спокойно, без панического страха перед неизвестностью, с чувством выполненного долга отойти в мир иной. Можно ли измерить время дум и размышлений, в каких единицах оно измеряется, какими рамками ограничивается? Очевидно, что цена этому процессу – жизнь. Много это, или мало? Поживем – увидим.

Не знаю, сколько драгоценного времени украли у моей жизни мои размышления в ту ночь, этот вопрос меня не занимал тогда, впрочем, как и сейчас. От дум меня отвлекли тихие, осторожные шаги на втором этаже. Они блуждали, поскрипывая старыми сухими от времени половицами, то, затихая, как бы останавливаясь и прислушиваясь, то, возобновляясь, продолжая движение, пока, в конце концов, не переместились на лестницу, ведущую со второго этажа в гостиную. Не меняя позы, но весь обратившись в слух, краешком глаза я посмотрел в направлении, откуда доносились шаги, и увидел моего гостя со свечой в руке, спускающегося по лестнице. Он старался идти очень тихо, как бы боясь спугнуть кого-то, или что-то, при этом взгляд его блуждал по сторонам, ища ответ на невысказанный вопрос. Когда он приблизился ко мне достаточно близко и остановился подле, я повернул к нему лицо и хотел, было, спросить, что так потревожило его сон, что он ищет в столь поздний час? Но не успел я раскрыть рта, как он поднёс руку к своим губам, показывая мне, что бы я молчал и не нарушал тишины. Так прошло ещё несколько минут, после чего, не смотря в мою сторону, он спросил еле слышным шёпотом: «Вы слышите?», – но не дал мне ответить, держа руку возле своих губ. Прошло ещё какое-то время, когда он снова начал говорить: «Я думал, это Вы, но теперь вижу... Ц-ц-ц. Тихо. Вот опять. Вы тоже слышите?». На этот раз я и не пытался отвечать, а только внимательно наблюдал за ним. «Этого не может быть, но... Ц-ц-ц».

Это продолжалось минут десять-пятнадцать. Он осторожно ходил по гостиной, озираясь во все стороны, что-то бормотал почти беззвучно, останавливаясь время от времени, как бы прислушиваясь. Внезапно он, тяжело вздохнув, опустил руки, будто сбрасывая с себя нависшее на него наваждение, и заговорил уже в полный голос: «Простите меня, Бога ради, но это невыносимо. Я понимаю, что выгляжу идиотом, но... – он снова напрягся весь, как будто произошло нечто очень важное. – Вот опять, слышите?.. Нет, это невыносимо», – ещё раз повторил он и опустился в стоящее рядом кресло. «Могу я попросить у Вас ещё виски, иначе мне не уснуть. Я так устал за этот день, мне необходимо выспаться». Я достал из бара новую бутылку виски, чистый бокал и протянул ему. Он взял то и другое, и, не сказав ни спасибо, ни спокойной ночи, молча отправился к себе. Больше я его не видел.

* * *

– Дедушка, что ты пишешь?

– Да как тебе сказать, сынок, хотел просто записывать свои мысли, о чём думаю, что вижу, что знаю, а вот целая повесть получается. Прямо писатель, ёксель-моксель.

– А о чём ты пишешь?

– Да так, обо всём, о жизни.

– И обо мне?

– И о тебе, мой маленький.

– И о нашем доме?

– Ну конечно, как же без него, вон он у нас какой, большой, старый, мудрый.

– Как это? Разве дом может быть мудрый? Он же не живой.

– Ещё какой живой. Ему уже больше ста лет, наверное. Много он повидал, многое пережил, о многом рассказать может.

- А разве дома умеют разговаривать?
- Конечно. Только язык у них особенный, не всякий его понимает, не каждому по уму такой рассказ.
- А ты понимаешь?
- Понимаю, сынок. Я старый, многое понимаю. Ведь я не сам придумываю то, что пишу, это мне дом рассказывает, а я слушаю, запоминаю и записываю.
- А мне расскажи.
- Кхе-кхе... расскажи. Не так-то это просто, расскажи. Вот вырастешь большой, и сам прочитаешь, сам всё поймешь, а что не поймешь, дом подскажет. А сейчас не мешай мне, я занят. Иди, играй, а то много вопросов задаёшь, ишь любопытный какой.
- Я не любопытный, просто мне интересно.
- Да? Ну ладно, беги-беги, не мешай.
- Деда.
- Ну что ещё?
- А ты про маму тоже пишешь?
- Да, сынок, и про маму тоже.
- А какая она была, а?
- Молодая и очень красивая. А ещё добрая и доверчивая, как ребёнок.
- Как я?
- А ты добрый?
- М-м-м... не всегда. Вообще-то добрый, а когда про папу думаю, то злой.
- Хм... это почему же?
- Да? А зачем тогда он нас бросил?
- Что за напасть такая?! Видишь ли, сынок, всё гораздо сложнее. Ты сейчас не сможешь понять.... Хотя нет, только ты, наверное, и сможешь. Но я не смогу тебе всего объяснить. Я уже старый и привык всё усложнять. Потерпи немного, вот подрастешь чуток, и сам всё поймешь. И, я надеюсь, перестанешь быть злым.
- А это он?
- Кто???
- Мой папа?
- Кто???
- Ну тот, про которого ты сейчас писал?
- Почему ты так думаешь?
- Ну, ведь он... был с мамой?
- Откуда ты знаешь? Ты что, брал мою книгу?
- Деда, ну какой же ты у меня ещё глупенький. Я ведь ещё не умею читать. Я просто знаю и всё. Это он, да?
- Ну, как тебе сказать, ну, в общем-то, да, он.
- А где он? Я могу его увидеть?
- А ты хочешь его увидеть?
- Да, очень хочу. У меня ведь нет никого больше, только ты и он. Но ты скоро уйдешь, и у меня никого не будет. Как я тогда буду, без никого?
- Ах ты, беда моя. Что же мне с тобой делать? А ты знаешь, ты же его уже видел.
- Я так и думал. Это тот дядя, который приезжал весной?
- Ну, в общем, да.
- А почему тогда он не зашёл к нам? Походил тут везде, посидел под моей берёзкой и уехал. Он что, не хочет нас видеть?
- Нет, что ты, милый, хочет, очень хочет. Только пока не может.
- А почему?

– Ну, как тебе объяснить, не время ещё.

– А он вернётся?

– Обязательно.

– И я увижу его?

– Конечно, увидишь.

– И смогу всё сказать ему?

– А что ты хочешь ему сказать?

– Что я люблю его.

– ...

– Деда, ты плачешь? Почему? Я обидел тебя? Дедушка, милый, не плачь, я тебя тоже люблю, я вас обоих люблю, и тебя, и его... и ещё маму.

– Я не плачу, милый, нет. Это я... просто чаю много попил, вот водичка и вытекает. А он вернётся, обязательно вернётся, скоро, уже возвращается. Я сейчас пойду его встречу. Только ты пока не сможешь его увидеть. Пока не сможешь. Потерпи ещё чуток. А я всё ему про тебя расскажу, и он тоже тебя полюбит. Вот увидишь. Он ведь про тебя ничего не знает, вот какая штука. А приедет, я всё ему расскажу.

– А он, правда, приедет?

– Конечно, он уже подъезжает.

III

Опять этот дождь. Вчера весь вечер лил, сегодня вот снова зарядил. Ни хрена не видно, хоть глаз выколи. Надо было остаться, куда торопился, сидел бы сейчас в уютном кресле и потягивал виски, нет, понесло куда-то...

Льёт-то как, прямо всемирный потоп, дворники не справляются. И темень такая, хоть глаз выколи, ни одного огонька, как в преисподней, прости Господи. Так недолго угодить в кювет, или ещё куда...

Надо же, часа два уже еду, и никого кругом, ни машины встречной, ни дома какого-нибудь, ни человека прохожего, ни даже собаки бродячей. Ни-ко-го. В такую погоду не только люди, звери попрятались кто куда. Интересно, куда? Должны же быть у них жилища, в которых они прячутся от непогоды. Так, где же они, эти жилища? Хоть бы какой-нибудь домик, где можно переждать эту бурю. Только чёрный лес, непроглядная тьма и дождь. Не дождь, а прямо-таки цунами. И ни одного пристанища, как в космосе. Тут, похоже, после Мамаева нашествия вообще никого не осталось, разве только лешие да кикиморы. И радио не работает, в эфире тишина, как в могиле...

И чего меня понесло в этот Устюг? Нет, в самом деле, ведь не собирался же. Ещё вчера и в мыслях не было, а сегодня, на тебе, сорвался и полетел. Правду говорят, дурная голова ногам покоя не даёт. Может вернуться, чего я там забыл? Ну нет, почти уж приехал, скоро должен быть Устюг, доеду уж. Отдохну, как следует, высплюсь, погуляю, город посмотрю, а тогда можно и назад. Говорят, там хорошо, тихо, спокойно, как в заповеднике, не то, что в этой сраной Москве. И чего так все в неё ломаются, чего там хорошего?! Деньги, пропади они пропадом.... Эх, были бы у меня деньги, не копошился бы я, как навозный червяк в этом г... городе, купил бы домик где-нибудь возле Устюга и жил бы себе спокойно...

А ведь был же у меня дом, где-то же я родился, рос. Только где он теперь? Никаких следов, ни дома, ни родителей, никого, ничего. Один, как перст. Позабыт, позаброшен, неумыт, неухожен...

Ну, хватит, расквасился, ты ещё заплачь. Ничего, будет и на нашей улице праздник. Обязательно будет. Только, где она, эта улица? Где эта улица, где этот дом? Где эта барышня, что я влюблен,...

Что это там, вроде сверкнуло что-то. Или показалось, в такую погоду что угодно помешиться может.... Нет, вроде не показалось.... Вроде свет,... Точно свет, неужели дом, люди...?!

Ах, блин, пропал свет, неужели проехал, вернуться что ли... Э, да тут хрен развернешься....

А, вот, снова появился, ну теперь уж не упущу...

* * *

Маленькая, совсем крохотная звёздная капелька оторвалась от полыхающего мириадами светил бескрайнего полотна вселенной и что есть духу помчалась к Земле. Такой манящей и притягательной ежесекундно совершающимися событиями, на первый, невооруженный, человеческий взгляд мелкими и не заслуживающими внимания, но настолько значительными, что каждое из них способно десятки раз уничтожить, разорвать в куски всё мироздание. Если бы не Всевидящее Око, Всезнающий Разум, Вселюбящее Сердце, охраняющее и сохраняющее этот мир, компенсируя все усилия безжалостного зла одной лишь беспредельной капелькой Своей Отчей Любви. Она неслась, как одержимая, сквозь холодное пространство, налету впитывая и переполняясь силой света, в невероятных выражах огибая чёрные дыры и плотные сгустки космической пыли. Она не замечала препятствий, ничто не могло её удержать

от исполнения миссии, простой и понятной, но вместе с тем, важной и значительной. Вгрызаясь в студинисто-аморфную массу дождевых туч, она не растеряла ни одной, даже самой незначительной крупинцы драгоценного света, такого необходимого, ничем не заменимого, сообщая людям тайны рождения и смерти. Она приближалась. Миг наставал. Неизбежное вот-вот должно было свершиться...

* * *

Толстая, тяжёлая, огромная как чёрный африканский слон капля дождя, вместившая, должно быть, в себя полный «стратегический запас» целой тучи, всей своей массой обрушилась, навалилась на машину, столь беспомощную и утлую, что поглотила её всю, проглотила внутрь себя, как ночь суслика, и отрезала от внешнего мира. Такое, по крайней мере, было у меня ощущение, когда, въехав в плотную стену дождя, я оказался слепым и глухим. Ни одного звука не доносилось до меня извне, даже недовольное урчание мотора стало каким-то глухим и как бы булькающим. Свет фар, уткнувшись в непроницаемую оболочку капли, даже не отражался от неё, а растворялся в ней, как сахарная вата на языке, ничего не освещая из внешнего мира, а пропадая, погибая в ней, как в чёрной дыре. Я сам был как очумелый от неожиданности; ничего не соображая, ни хрена не понимая в происходящем, я судорожно, как оголенный электрический провод, сжимал ничего не чувствующими, непослушными руками баранку, а правая нога что есть силы давила на педаль газа, как будто от этого зависело моё спасение.

Времени я тоже не ощущал, его не было вовсе. Секунды, года, столетия перестали иметь хоть какое-то, даже самое маленькое значение. Ничего не менялось, не двигалось, не издавало звуки и запахи, не росло и не умаялось. Сознанию не за что было уцепиться, чтобы, оттолкнувшись, начать отсчёт времени, событий, жизни. Мгновение растянулось в вечность и, кажется, продолжало расширяться и расширяться стремительно, как.... Что я говорю? Тщетное и бесперспективное занятие подыскивать сравнение для описания вечности, беспредельности. Она беспредельна по причине своей вечности и вечна по причине беспредельности.

Вдруг реальность вернулась. Вернее то, что мы привыкли считать реальностью, беря на себя самодовольную смелость и безответственную ответственность ограничивать её, сжимать, запикивая в мелкие, неуютные рамки нашего самодостаточного ничтожества, предписывая реальности безусловную и безоговорочную необходимость быть видимой, слышимой, ощущаемой, чувствуемой, просчитываемой вдоль и поперёк нашим ограниченным, самовлюблённым умишком. Правильнее было бы сказать, что я вновь обрел способность воспринимать доступную мне часть реальности. А ещё вернее, что она милостиво позволила мне принять её в доступной для меня форме.

Крохотная капелька света, потерянная мною, и отрезанная от меня огромной, слоноподобной дождевой каплей, снова появилась перед глазами. Она как будто приближалась, медленно увеличиваясь в размерах, и указывая мне направление движения. Вскоре до меня донёсся так же медленно нарастающий звук, который с приближением становился всё более отчетливым и узнаваемым. Это был удивительный по красоте, щемящий душу плач скрипки, мелодия, которую я никогда не слышал, ни ранее, ни впоследствии. Она завораживала, манила, заставляла забыть обо всём на свете, такова была сила её звучания. Либо я ехал очень быстро, либо светящаяся точка имела способность передвигаться, но неожиданно её приближение стало настолько стремительным, что мелодия скрипки очень скоро заполнила всё пространство вокруг меня и, даже, заглушила рев мотора.

Нахлынувший свет, буквально, взорвал скорлупу дождевой капли, и в тот же миг я с ужасом увидел невероятно быстро приближающуюся, ярко освещенную и, наверное, ослеплённую неистовым светом фар девичью фигуру в лёгком белом платье и со скрипкой в руке. Мелодия прервалась, а пространство заполнил пронзительный скрип тормозов. Я сделал всё, что мог, но столкновения, видимо, избежать не удалось...

* * *

– А, сержант, проходи, присаживайся. Я что-то никак не пойму, что ты мне тут такое понаписал. Это не протокол, а мистический детектив какой-то.

– Всё как было, товарищ майор, истинная правда, всё как было.

– Да? Ну, давай разберёмся. Так. Читаю: «... числа, ... месяца сего года, в пять часов тридцать минут утра, мною, патрульным ДПС сержантом ...ым на ...ом километре ...ого шоссе был обнаружен труп молодой женщины, на вид лет приблизительно шестнадцати-восемнадцати, одетой в лёгкое белое платье...», ну дальше описание женщины, телесных повреждений, поза трупа, это опускаем, читаем дальше, «...Предварительный осмотр места происшествия показал, что женщина была сбита неустановленным автотранспортным средством. Накрыв труп одеялом, и вызвав дежурную машину скорой помощи, я приступил к детальному осмотру места происшествия...», так, описание места происшествия, замеры, тормозной след, и т. д., и т. п., а вот, нашёл, «... по прибытии дежурной машины скорой помощи было обнаружено, что трупа женщины под одеялом не оказалось...». Это как понимать?

– Сам не пойму, товарищ майор, одеяло отвёртываю, а её нету.

– Как это, нету?

– Совсем нету, как и не было.

– Да? Что ты говоришь? Так может, её действительно не было?

– Была, товарищ майор. Ей Богу была. Что ж я, совсем что ли?

– А ты, случаем, не пьян был, а?

– Нет, что Вы, товарищ майор, как можно!

– Ну а если между нами, ну, как на Духу, без протокола. Ночью холодно, дождь, ветер, непогода, устал, замёрз, дежурство заканчивается, ну и пропустил стакашек-другой, для сугреву значит, а?

– Да нет, товарищ майор, Вы не поняли, я ж вовсе не употребляю, у меня язва. После операции в рот не беру, даже пиво. Лет десять уж.

– Да? Хм.... Так куда же он делся?

– Кто?

– Ну, труп этой бабы.

– Да какая она баба, девчонка совсем, красивая очень, как невеста. И одета, как-то, легко, не по погоде.

– Да хрен бы с ней, баба, девчонка! Ты мне скажи, куда она подевалась, если, как ты утверждаешь, была?

– Не знаю, ей Богу, не знаю. Но что была, точно.

– Что ж она, отогрелась под твоим одеялом, встала и домой пошла?

– Нет. Вряд ли. Куда она пойдёт, мертвая-то? Ноги переломаны, черепушка разбита.... Нет, не должна никуда пойти. Да и домов-то там никаких нету, лес один. Был когда-то дом, большой, усадьба целая, да сгорел ещё до революции, давно дело было. Так что некуда ей идти.

– Тогда где же она?!

– Не могу знать. Мож, забрали?

– Кто?

– Ну, родственники, можа...

– Какие родственники? Ты же говоришь, не живёт там никто. Постой, а не проезжал ли кто-нибудь мимо, не спрашивал ли, не интересовался?

– Нет. Никто не проезжал, только скорая. Хотя, был какой-то дед, старый совсем, лет восемьдесят, небось, а можа и все сто. Но ничего не спрашивал, не интересовался. Постоял только, посмотрел, да и пошёл себе дальше.

– Какой дед?

- Так, я ж говорю, старый.
- Откуда он взялся, если во всей округе ни одного жилища? Куда он пошёл? Зачем приходил? Кто он вообще такой? Ты расспросил его?
- Нет.
- Почему?
- Так я ж мерил вот...
- На хрена мне твои измерения?! У тебя труп пропал, понимаешь ты это, дурья твоя башка?!
- Эх-х-х, понимаю.
- Ищи деда. Где хочешь, ищи. Носом землю рой, из преисподней достань, но приведи мне его сюда. Чую я, он труп забрал.
- Кто?
- Кто-кто? Дед в пальто.
- Зачем?
- Затем, дурень! Это он её угробил.

IV

Это была она. Я стоял над её всё таким же молодым и таким же прекрасным телом и не верил, не хотел верить в то, что её больше нет. Всё моё сознание, мой рассудок, несмотря на семидесятипятилетний возраст ещё ясный и продуктивно мыслящий, не хотел доверяться глазам. Он отказывался воспринимать эту страшную картину на обочине всегда такой пустынной дороги, не соглашался видеть огромного бурого пятна запёкшейся и уже высохшей крови, расплзшегося по холодному серому асфальту во все стороны от её прекрасной головки. Не замечал пугающей неестественности позы её стройного тела, он не видел даже одеяла, которым оно было накрыто.

Он хотел, желал, жаждал видеть перед собой любимое, молодое, прекрасное, а главное, живое тело, такое доверчиво-податливое, горящее в любовной лихорадке, трепетное и любящее, пугливо, по-детски вздрагивающее от каждого нежного прикосновения нетерпеливых рук, обжигающих губ, вездесущего, бесстыжего языка. И Бог знает чего ещё уместного и неуместного, естественного и противоестественного, смиренного и дерзкого в необузданных фантазиях любовной игры, когда рассудок добровольно, без какого-то ни было насилия над собой, целиком подчиняется чувству, и подвластный ему, без колебаний отдавшись страстному сердцу, синхронно вибрирует в такт с каждым его ударом. Послушный разум, преломляя и исправляя неумолимую действительность, предоставил сознанию то, что оно искало, без чего не мыслило себя, отказывалось жить.

Она открыла свои большие небесно-голубые глаза, стыдливо, как школьница, одернула задравшееся почти до пояса платье, прикрыв точёные, как у античной статуи ноги, встала с асфальта, подошла вплотную, касаясь высокой, твердой девичьей грудью моей груди, обвила ласковыми, тёплыми руками мою шею и, прижавшись близко-близко, так, что её горячее дыхание, слившись с моим, обратилось в одно, общее, произнесла трепетными устами: «Как же долго я тебя ждала. Наконец-то ты приехал. Никогда, слышишь, никогда не оставляй меня больше, мне очень плохо без тебя. И мне, и нашему маленькому. Пойдем в дом, я покажу тебе его, он очень славный, и очень похож на тебя».

«Прости меня, – ответил я, не в силах сдержать слёзы, – это я виноват в твоей гибели, я не успел...».

«Не надо, не извиняйся. Ты приехал, я жива, я всё-таки дождалась тебя, и мы снова вместе. Пойдём в дом, наш сын ждёт тебя. Он ещё совсем крохотный, такой смешной и забавный. Представляешь, он всё уже понимает. Когда я рассказываю ему о тебе, он слушает так внимательно. Он любит тебя, как я».

Мы пошли, обнявшись, через открытые настежь тяжёлые кованые ворота усадьбы по тенистой аллее парка к дому. Гаишник, обнаруживший её тело на дороге, ничего не заметил, настолько он был увлечён своими измерениями и записями в никому не нужном теперь протоколе. Бедный, ему, наверное, попадет от начальства. Но что нам до этого, земная любовь эгоистична, и мы забыли о нём в ту же секунду, как будто его не было вовсе. Да и был ли он, в самом деле? Мы были счастливы, как тогда, в ночь нашей первой встречи, нашего знакомства. В ту ночь родилась наша любовь, чтобы никогда не умереть и дать бессмертие нам.

Тогда я ещё не знал, не думал, что это любовь. Я вовсе не знал любви, как не знал ещё ни одной женщины. Я боялся их, стеснялся показать свой интерес к ним, пульсирующий и пробивающийся сквозь стыд, опасался нечаянно проявить свои затаённые чувства, которые прятал, хоронил как можно глубже внутри себя, и хранил там, оберегал до рокового часа. Любовь была для меня тайной, загадкой, сравнимой с болезнью, с умопомешательством. Наверное, так оно и есть, если считать нормой наш рациональный, просчитываемый мир. Тогда, в ту ночь, любовь

вырвалась из плена, я не смог удержать её, да и не старался. Что я мог поделать, роковой час настал, спорить с ним бесполезно и глупо...

* * *

...«Я сбил человека! Я убийца! Я, не сделавший в своей непродолжительной пока ещё жизни никому зла, отнял жизнь у другого! Я убил женщину, чью-то дочь, чью-то жену, может быть, чью-то мать. Я прервал эту ниточку жизни, обломил ветку большого плодоносного дерева, на ней уже ничего не сможет родиться. Что же мне делать?! Как жить дальше?!»

Я сидел, уронив голову на руль, полностью раздавленный и парализованный всем произошедшим. Жизнь казалась страшной и бессмысленной. И это в двадцать пять лет. Свет, сопровождавший меня по жизни, указывающий путь в крошечной темноте мирской неустроенности и суетного хаоса, погас. И даже та маленькая звёздочка, ведущая меня в эти последние минуты, последние метры моего странствования, больше не светила, оставила меня, забыла о моём существовании. Музыка, волшебная мелодия скрипки, завладевшая мной, моей душой, моими чувствами, и столь грубо прерванная пронзительным визгом тормозов, тоже исчезла. Со всех сторон меня окружала пустота, глубокая, как бездна, тёмная, как ночь в могильном склепе, немая, как крик о помощи посреди безбрежного океана. Только капли дождя, бешено барабанившие по крыше, по капоту, по стёклам машины, возвращали меня к действительности.

Вдруг я опомнился. Что же я сижу? Может, удар был не столь сильным, и она ещё жива? Ей, наверное, нужна помощь... конечно же, нужна помощь.... И помочь могу только я, а я сижу.... Болван, какой же я болван!

Через мгновение, я уже был на улице, под проливным дождём, возле самого носа машины. Сказать, что я был удивлён, значит, ничего не сказать. Я был просто ошарашен, как если бы вдруг совершенно точно узнал о том, что я женщина, и не просто женщина, а замужняя, к тому же мать троих детей. Бампер машины был абсолютно цел, фары как новенькие светили ровным светом, на капоте ни единой царапинки, всё было целёхонько и находилось на своих местах. Не было только одного, одного единственного, но самого важного элемента обстановки. Ни впереди, ни сзади машины, ни справа, ни слева, ни под ней самой я не обнаружил никого, и даже ничего, хотя бы отдаленно напоминающего человеческое тело. Всё было чисто. Зато перед машиной, примерно в полуметре от переднего бампера возвышались огромные кованые чугунные ворота, сразу за которыми тянулась прямая, как стрела широкая аллея, упиравшаяся в парадный подъезд большого двухэтажного особняка.

Я стоял под проливным дождём, как каменное изваяние, и ничего не мог понять. Я же отчётливо видел девушку в белом платье, со скрипкой в руке. Она появилась настолько внезапно, а скорость машины была столь высокой, что я не успел ни остановиться, ни отвернуть. Всё произошло буквально в одно мгновение, наезд был неизбежен, я убеждён, что сбил её. Тогда где же она? Я ещё раз обошёл вокруг машины, обследовал массивную решётку чугунных ворот и снова встал в недоумении. Никаких следов наезда не было. Так что же тогда было? Что я видел?

Ну не приснилось же мне всё это? Хотя, может быть. Я, должно быть, не заметил, как уснул за рулём, и увидел сон. Светящаяся точка, музыка, девушка со скрипкой: всё это было во сне? На самом деле ничего такого не происходило? Тогда получается, что и наезда никакого не было, я никого не убил?! Господи, да что же это такое, ведь теперь выходит, что я сам чудом остался жив. Ведь если бы не эта девушка, вернее, если бы она не приснилась, я не стал бы тормозить и въехал бы со всей дури в эту железяку. Холодный пот, ещё холоднее и мокрее чем непрекращающийся поток дождя, покрыл моё и без того холодное и мокрое тело. Слава Богу! Благодарю тебя, Господи, что послал Ангела своего для моего спасения! Она, эта девушка в белом – мой Ангел-спаситель! Если бы не она, что бы со мной было?!

Размышляя так, я постепенно отходил от практически парализовавшего меня шока, и страшное чувство близости и неотвратимости собственной смерти, сменившее чувство вины за чужую смерть, в свою очередь, пусть медленно, но неотвратимо, уступало место чувству облегчения и благодарности за чудесное спасение моей хрупкой жизни. Вскоре я ощутил, как огромные полчища мурашек свободно путешествуют вдоль и поперёк моего промокшего до нитки и промёрзшего тела. Залезать снова в машину не было никакого желания, так свежо ещё было связанное с нею ощущение близости смерти. К тому же, я стоял в какой-нибудь сотне метров от большого, явно обитаемого и, наверняка тёплого, гостеприимного дома. Я не стал себя долго уговаривать и, поборов всякие сомнения, взял ноги в руки и побежал через незапертую калитку рядом с воротами по прямой, как стрела, аллее к спасительному крову, где, я надеялся на это, меня примут, дадут согреться, и может быть даже, покормят и оставят ночевать. А завтра, отдохнувший и отогревшийся, я покачу дальше, навеки похоронив в глубине памяти воспоминания об этой страшной ночи.

С первым я не ошибся. Меня встретил гостеприимный добрый хозяин, который, как мне показалось, даже как будто ждал меня, настолько хорошо я был принят. А вот со вторым... Я, конечно же, не мог даже предположить, насколько важное, определяющее смысл всей моей будущей жизни событие ожидало меня этой ночью. Собственно, оно самое, это событие, то, что произошло в этом доме этой загадочной ночью, и является предметом моего рассказа...

* * *

– Налей-ка ещё, старик. В горле сдавило, слова не вымолвить.

– Отчего же не налить, налью. А слово... слово придержи, оно, мил-друг, дорогого стоит, слово-то. Им бросаться негод, оно силу имеет особую – может родить, а может и убить. Да и знаю я всё, чего рассказывать-то.

– Интересный ты человек, отец, сидишь тут себе на скамеечке, водочку попиваешь, нигде не бываешь, никого не видишь и всё знаешь.

– А как же? Кому же знать, как не мне? Я здесь всё знаю, кое-что и тебе расскажу, что должно рассказать. А остальное, дай срок, сам узнаешь, как я узнал, и кому надо, расскажешь, как я тебе нынче.

– Кому?

– Тому, кто придёт.

– Как это?

– Как ты пришёл.

– Куда?

– Как, куда? Сюда, конечно.

– Откуда?

– Хе-хе, отсюда, сынок. Откудова ж ещё?

– Кто ты, старик? Откуда ты взялся?

– Откудова, говоришь? Да собственно, откудова, откудова и ты. Я, видишь ли, как бы и есть ты, только пожил подольше, знаю побольше.

– Да-а. Все мы из одного теста, из одного места.

– Хе-хе. Ты, сынок, и представить себе не можешь, насколько ты прав сейчас.

– Что ты имеешь в виду, отец?

– Да что тут иметь. А ну-ка, посмотри туда.

– Ну.

– Что видишь?

– Ну что, закат, солнце садится.

– А дальше что?

– Что дальше? Дальше ночь будет, темно, всё заснёт, как бы замрёт.

- И Солнце?
- Что солнце?
- С Солнцем что будет?
- Солнца вообще не будет, луна будет, вон она уже светит.
- Как Солнца не будет, совсем не будет?
- Совсем.
- А куда же оно денется, погаснет, умрет, испарится?
- Станный ты какой-то. Или издеваешься?
- Ты не про меня, ты про Солнце мне скажи. Что с ним сделается-то?
- Да ничего с ним не сделается, как светило, так и будет светить, только с другой стороны Земли.
- А с этой стороны что, так и будет темно?
- Ну, ты даёшь, отец, как только родился. Не переживай, ничего не сделается с твоим солнцем. Завтра вернется. Взойдёт снова, и будет светить целый день.
- Завтра? А сегодня?
- А сегодня всё.
- Как это, всё?
- Как-как! Сегодня кончается. Всё, трындец, наступает завтра.
- А сегодня больше не будет? Никогда?
- Как это, не будет? Будет.
- Когда?
- Завтра.
- Завтра? Завтра будет сегодня? Так что ж, сегодня и завтра одно и то ж?
- Да.... Нет! Не морочь мне голову. Как это одно и то ж? Сегодня, это сегодня, это то, что сейчас, а завтра, это то, что будет завтра.
- Так что ж, выходит, по-твоему, сегодня завтра не будет, и никогда уже больше не будет?
- Завтра тоже будет сегодня, но оно уже будет завтра, а сегодняшнее сегодня больше уже никогда не будет. Оно кончится сегодня, превратится во вчера, понятно? И как только оно кончится, сразу же наступит завтра. Но оно уже не будет называться «завтра», а будет «сегодня». Потому как завтра будет послезавтра, относительно сегодня, а относительно завтра, которое тогда уже будет сегодня, оно снова будет завтра, а послезавтра, послепослезавтра, которое, в свою очередь, тоже будет завтра, а когда закончится сегодня, которое завтра, оно тут же станет сегодня, и так далее.... Вот. Уф... Теперь понятно?
- Нет, не понятно.
- Ну, ты достал меня, отец, что же тут непонятного? Короче, всегда, всю жизнь, каждый день будет сегодня, а завтра, оно всегда впереди, всегда завтра, и никогда не наступит, как линия горизонта.
- А Солнце?
- Что солнце?
- Солнце ведь тоже всегда, оно никуда не исчезает, не перестает светить ни на минуту. И Земля, и звёзды, и мы с тобой, всё живёт, дышит, любит, функлирует как-то. И это не только сегодня, но и завтра, и вчера, и каждый день, и каждую ночь, независимо ни от сегодня, ни от завтра. Или ты завтра уже перестанешь любить, дышать, мыслить, будешь жить каким-то иным образом? Или Солнце перестанет светить, погаснет вообще, темно будет?
- Нет, конечно. И солнце будет, и птицы запоют снова, и цветы распустятся, всё как сегодня.
- Сегодня, или как сегодня?
- Не пойму я что-то тебя, отец. Ты что хочешь-то от меня?

– Я? Ты всё поперепутывал, сынок, впрочем, как и я в твои годы. Мне-то от тебя ничего не нужно. Я тебе нужен. И знаешь почему?

– Почему?

– Хе-хе. Так ведь нету никого больше. Один я тут, стало быть, один я и могу тебе помочь, путь-дорогу показать и рассказать, как идтить-то по ёй.

– А ты знаешь?

– А кому же знать-то, как не мне?

– И покажешь?

– А ты хочешь?

– Очень хочу, отец, двадцать пять лет ищу эту дорогу, и не могу найти.

– Стало быть, не там ищешь.

– Так, где ж её искать-то? Всё уж тут объездил, всех обспрашивал, никто не знает.

– Так вот, я и говорю, не там ищешь.

– Как, не там, а где?

– А нигде.

– Как это, нигде?

– А вот так. Ведь нету её, дороги-то.

– Как это, «нету»?

– Да вот так, нету, и всё тут.

– А что же есть?

– А ничего нету.

– Как, ничего?

– Вот так, ничего. Ни Солнца, ни Земли, ни леса этого, ни дороги, ни тебя, ни меня. Вообще ничего.

– Но что-то всё-таки есть?

– Сегодня.

– Что, сегодня?

– Сегодня есть. Ты ведь «вчера» ищешь, и ищешь его в «завтре». А «завтра» нет, и «вчера» нет, и ничего ни завтра, ни вчера не было, нет, и не будет.

– Как же это?

– А ты подумай.

– Не пойму я что-то. Я ведь и сегодня искал, я каждый день искал. Все двадцать пять лет, каждый Божий день ищу. И не нахожу.

– А что ты ищешь-то?

– Как что? Я же тебе рассказывал, ты что, забыл?

– Ничего я не забыл. И хотел бы забыть, да не могу. Потому, я тоже искал.

– Что?

– То же, что и ты. Её, конечно.

– Ну, и нашёл?

– Нашёл.

– Где?

– Здесь.

– Когда?

– Вот глупый человечек, так ничего и не понял. Ты подумай сам-то, пораскинь мозгами. Давай стакан-то, налью уж, а то мозги сломаешь, потом не починишь.

– Слушай, дед, не томи ты душу мою, у меня и так уж крыша едет. Знаешь ведь ты что-то. Так ведь? Знаешь?

– Знаю. Всё знаю.

– Тогда рассказывай, не томи!

- Ну, слушай, коли так просишь. Только учти, узнаешь то, что я знаю, назад не воротишься. Рассказывать что ли?
- Да говори уже!
- Ну, так слушай.

V

...В ту ночь я так и не смог уснуть. Музыка, тот самый скрипичный плач, который при-
снился мне в дороге, который вместе с моей путеводной звёздочкой привёл меня сюда, к этому
дому, снова запел в воздухе. Я опять слышал его, слышал так же отчетливо, как там, в машине,
во сне. Или не во сне? Я уже не понимал ничего? Сон ли это был? Или не был, а всё ещё про-
должается? Или не было никакого сна, а музыка, и была, и есть наяву. Тогда и девушка тоже
была наяву, сейчас ведь я не сплю. Ведь дом, его великодушный хозяин, ужин, виски и всё
остальное были на самом деле. Были? Почему были? Есть... Или нет? Может всё это тоже
какая-нибудь иллюзия, мистификация? На всякий случай, я ущипнул себя за мягкое место
и тут же убедился в адекватности своих восприятий. Было ли всё это галлюцинациями, или
просто розыгрышем какого-то шутника, но точно не было сном. В данный момент я не спал.

А музыка продолжала звучать, только откуда-то из вне. Она блуждала, то усиливаясь,
то затихая, так что невозможно было определить место нахождения её источника. Я понял,
что непременно, во что бы то ни стало должен найти таинственного музыканта, вернее музы-
кантшу, если так можно выразиться, ведь она спасла мне жизнь. Наяву ли, во сне ли я слышал
звук скрипки и видел звездочку, но холодный массив чугунных кованых ворот я помню отчет-
ливо. Тут ошибки быть не могло. Смерть играет с нами в прятки, пока мы ещё в спасительном
отдалении от неё. Но стоит ей приблизиться вплотную и занести над головой свои ледяные
костлявые лапы, как надобность прятаться исчезает, и она предстаёт во всей своей мертвенной
«красе». Трудно, практически невозможно тогда улизнуть, освободиться от её железных объ-
ятий. Мне сегодня удалось, и причиной тому моя таинственная скрипачка, пожертвовавшая
ради моего спасения своей жизнью. И хотя её мёртвого тела мне найти не удалось, быть может,
удастся найти её живую, скрипка ведь поёт, я это отчётливо слышу.

Я потихоньку, чтобы не спугнуть завораживающий голос скрипки спустился вниз, в холл,
где возле камина оставил моего гостеприимного хозяина. Он оказался на месте, но мелодия
вдруг пропала. Я поискал её, она не заставила себя долго ждать, но, зазвучав снова, вскоре
опять спряталась. Это повторилось ещё раз, и ещё, и когда в очередной раз я потерял её, руки
мои опустились, и я рухнул в случайно подвернувшееся кресло. Но это был ещё не конец,
она дразнила меня, играла со мной в прятки. Мой великодушный благодетель краем глаза
наблюдал за мной – должно быть смешно и нелепо я выглядел, но это обстоятельство меня
нисколько не смущало. Я был целиком поглощён своими поисками, и когда музыка снова зазвуча-
ла, откуда-то сверху, должно быть со второго этажа дома, где находилась моя комната, я,
прихватив бутылку виски, и ничего не объясняя заинтригованному моим поведением хозяину,
молча направился к лестнице, по которой спустился несколько минут назад.

Я буквально влетел в свою комнату, но там было пусто. А мелодия всё звучала и звучала,
сводя с ума, вытесняя из сознания все ощущения и чувства, кроме восприятия её заворажива-
ющей песни. Я искал источник музыки, скрипичного плача, запомнившегося мне, запавшего
в душу. Невозможно было определить местонахождение музыканта, мелодия лилась отовсюду,
вернее, она звучала везде с одинаковой силой. Пели стены, мебель, которой была обставлена
моя комната, зеркала и оконные стёкла, пол и потолок, сам воздух, наполнявший помещение,
каждой своей молекулой вибрировал, создавая звуковые колебания, так что мелодия казалась
живой, существующей, сущей сама по себе, независимо от инструмента, её производящего. Я
вдыхал её вместе с воздухом, впитывал вместе с лунным светом, отраженным от предметов
интерьера, ощущал кожей, с ног до головы покрытой мурашками, чувствовал её ритм серд-
цем, бившимся с ней в унисон, осознавал разумом её неотъемлемое единство с моей лично-
стью, с моим сокровенным «Я». Мелодия иногда прерывалась, совершенно неожиданно, и в эти
секунды, а может минуты, я метался по комнате, как сумасшедший, ища её снова, пытаюсь пой-

мать кончик, которым она прервалась, вытянуть за него её плач из тёмного угла, из-за шкафа, может быть, из-под кровати, отовсюду, где она могла бы спрятаться. Но её скрипичный голос, так же неожиданно, как и исчезал, появлялся вновь, заставляя меня врасплох, и заставляя замирать в застигнутой позе, из опасения, или даже страха спугнуть, неосторожным движением прервать хрупкую жизнь музыки.

В один из таких перерывов я выскочил на балкон, выходящий в большой, освещенный серебряным светом полной луны парк. В глубине его я заметил крохотный мерцающий огонёк. В этот момент мелодия возобновилась, и я понял, вернее, ощутил всеми фибрами души, откуда доносится плач скрипки. Несомненно, он лился из глубины парка, оттуда, где еле заметный в лунном сиянии трепетал загадочный свет. Не помню, как я оказался на земле, в окружении дивных, казавшихся, почему-то, добрыми великанами деревьев. Осторожно, стараясь не делать шума, я пробирался сквозь густой кустарник и низкие кроны часто посаженных деревьев туда, откуда лился свет и мелодия скрипки. Вскоре я вышел на поляну. То, что открылось моему взору, привело меня в трепет и заставило содрогнуться. В центре небольшой поляны, одетая в легкое белое платье, стояла удивительной красоты девушка лет восемнадцати. Перед ней, на высокой подставке, освещенные неуверенным светом свечи, были разложены ноты. В руках девушки была скрипка. Она играла. Играла превосходно, выше всякой критики, как никто и никогда не играл, и не сыграет более, должно быть. Это была она, та самая девушка из сна, мой Ангел-спаситель. Она настолько была поглощена игрой, что не обращала никакого внимания на появление непрошенного, незваного свидетеля своего искусства.

Я стоял, не шелохнувшись, заколдованный её игрой и её красотой, не знаю, чем больше. Я боялся пошевелиться, боялся даже дышать, опасаясь неосторожным посторонним звуком испугать её, прервать игру. Мне казалось, что если она остановится, если перестанет плакать скрипка, то наваждение спадёт, чудесный сон прервётся, и я снова окажусь под проливным дождём, на пустой тёмной дороге. А она, это чудное, прекрасное создание, вызвавшее во мне восхищение, и всколыхнувшее то самое чувство, которое я так долго прятал и признаться в котором, боялся даже сам себе, эта девушка в лёгком, почти прозрачном платье окажется лежащей в ужасной, неестественной от переломанных ног позе на чёрном холодном асфальте перед моей машиной. А от её восхитительной головки во все стороны расплзётся огромное бурое пятно ещё живой, тёплой крови.

Наверное, я слишком живо представил себе эту картину, потому что не смог сдержать тяжёлого шумного вздоха. Она остановилась, музыка прервалась. Я зажмурился, как в далёком детстве маленький мальчик что есть силы сжимает веки глаз перед лицом пугающей опасности, полагая, что это нехитрое укрытие может надёжно защитить его от посягательств всякого рода плохих и злых страшилищ. Не знаю, как долго я так стоял, время остановилось, прекратило свой отсчёт. Наверное, я стоял бы так вечно. Я ни за что на свете не согласился бы открыть глаз, разбив наивную детскую иллюзию кажущейся защищённости, если бы не...

«Кто Вы? – услышал я нежный девичий голосок. – Откуда Вы? Как тут оказались?»

Медленно, всё ещё опасаясь страшного разочарования, я открыл глаза – наваждение не спало, чудный сон продолжался. Прямо передо мной, сотканная из паутины тончайших лучиков лунного сияния, стояла удивительной красоты и обаяния девушка. Слегка наклонив голову с копной непослушных огненно-рыжих волос, она смотрела на меня большими, голубыми, как небеса глазами и улыбалась очаровательной, простодушной улыбкой.

«Кто Вы? – повторила она вопрос. – Вас что-то напугало?»

Я молчал. Я просто онемел. Звёздочка, моя путеводная звёздочка, покинувшая меня несколько часов назад, вновь явилась мне, обретя плоть, голос, запах, дыхание. Что можно ответить, какие слова подобрать, когда вдруг, неожиданно встречаешь свою мечту, которую не знал, не представлял раньше, о которой даже не догадывался, не мог догадываться, замороженный суетной обыденностью хладнокровного, пресмыкающегося мира. Какую глупость

могут вымучить уста в ответ той, которую уже любишь, сразу, с первого взгляда. Нет, не уже, которую любишь очень давно, всегда любил, всю жизнь, только не знал об этом, не догадывался, хранил её образ где-то глубоко-глубоко в душе и любил его, боготворил в тайне от всех, даже от самого себя, и жил этой любовью в тайной надежде отыскать её во плоти, обнять её, прижаться к ней, соединиться с ней в одно целое, раствориться в ней.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.